

Густав Мейринк • Голем

и

М  
А

Библиотека  
журнала  
сучасної української  
літератури

Густав Мейринк

Голем





И  
Л

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

**Gustav Meyrink**

**Der Golem**

**Густав Мейринк**

# **Голем**

**Роман**

*Перевод с немецкого А. Солянова*

*Предисловие М. Рудницкого*

**Москва**  
**«Известия»**  
**1991**

**И (Австр)**  
**М 45**

*Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов*

*Редактор И. Кивель*

*Рецензент М. Рудницкий*

*На обложке и в тексте иллюстрации художника  
Гуго Штайнер-Праги*

**М  $\frac{4703010100-004}{074(02)-91}$  117-91**

**ISBN 5-206-00224-0**

© Перевод на русский язык А. Солянова

## О романе Густава Мейринка «Голем»

Признаюсь сразу: предложение написать об этой книге за- стало меня врасплох. Читал я ее давно, еще в студенческие времена, то есть в середине шестидесятых, и из побуждений скорее развлекательных, нежели серьезных: от людей старшего поколения не раз приходилось слышать, сколь увлекателен этот роман, как много в нем всяческой «чертовщины», невероятных «ужасов» и жутковатых приключений. Видимо, в этих отзывах еще слышалось эхо того феноменального успеха, которым пользовался роман Густава Мейринка в 10-е и 20-е годы,— в ту пору это был, можно сказать, бестселлер номер один на немецкоязычном книжном рынке, и конкурировать с ним не могли ни Томас Манн, ни Генрих Манн, ни тем более почти неизвестный тогда Франц Кафка.

Дважды экранизированный (в Германии и во Франции), переведенный чуть ли не на все европейские языки (в том числе и на русский — правда, тот старый перевод был очень плох), роман бил все тиражные рекорды и долгое время оставался как бы эмблемой «литературы ужасов». Вместе с фильмами немецких экспрессионистов («Несферату», «Кабинет доктора Калигари») «Голем» Густава Мейринка воспринимался в первую очередь как явление именно такого рода, как феномен развлекательного искусства, противопоставившего себя «серьезной» реалистической традиции; тогда многим казалось, что и «фильмы ужасов», и книги типа мейринковской — лишь уступка обывательскому вкусу, спекуляция на извечном интересе к потустороннему и мистическому, успех за счет «щекотки нервов».

Не буду подробно распространяться о том, почему и как иной раз явления большого искусства не распознаются

сразу в их истинном масштабе; почему Э. Т. А. Гофмана и Эдгара По, не говоря уж о Мэри Шелли с ее романом «Франкенштейн», современники числили по разряду низкопробных беллетристов; почему, когда и как такие произведения вдруг оказываются в числе тех, что выдержали «проверку временем», и выделяются на общем фоне массовой литературы, на котором прежде были неразличимы. Все это — предмет особого разговора, лейтмотивом которого будет, в сущности, простая мысль: настоящее искусство может возникать в русле любой стилистики и тем более пользоваться любыми стилистическими средствами, в том числе и теми, которые в определенный период времени могут восприниматься как «низкопробные». Важнее, думаю, просто указать, что судьба книги Мейринка — именно такого рода.

Перейду к тем несомненным достоинствам (художественным и культурно-историческим) романа Густава Мейринка, которые безусловно оправдывают его издание в новом русском переводе сейчас, в наши дни.

Во-первых, это книга, возникшая в русле богатейшей и мало пока у нас известной литературной традиции так называемой пражской школы немецкоязычной литературы, откуда вышли Рильке и Кафка, Верфель и Эгон Эрвин Киш, Вайскопф и Фюрнберг. Написанная в 1913-м, вышедшая в 1915-м, она несет в себе характернейшие черты этой школы периода ее расцвета: тяготение к гротеску, пристальный интерес к внутреннему миру личности, ощутившей вдруг приближение грандиозных и роковых исторических перемен, своеобразный сплав узнаваемого, конкретно топографически очерченного пражского колорита с космическим масштабом художественного обобщения, когда столица Богемии, город со смешанным чешско-немецко-еврейским населением, становится как бы моделью предкризисного капиталистического мира.

Во-вторых, в книге Мейринка очень своеобразно запе-

чатлелось то отчужденно-апокалипсическое мироощущение, которое определяет лучшие творения экспрессионистов, а вслед за ними и сюрреалистов. Пусть историки литературы и теоретики-литературоведы ломают головы над точным определением и, соответственно, научно обоснованным разграничением этих творческих методов, но в романе «Голем» перед нами, на мой взгляд, предстает нерасторжимый их синтез. Реальность в привычном, обыденном ее понимании здесь сливается с фантазией и сновидением, с мифами и легендами городского фольклора, перерастая в жутковатую фантазмагорию *бесчеловечного бытия*, на которое обрекает личность капиталистический город. Именно в этой мысли, в этом мироощущении укореняется вся поэтика *ужаса* в романе Мейринка, и именно эта мысль, это мироощущение оправдывает всю сложную, подчас громоздкую художественную конструкцию его романа. Поэтизация ужаса и иррационального здесь не самоцель, а лишь средство вскрытия социального недуга, имя которому — бесчеловечность общественного уклада.

Мейринка часто, подробно и не без оснований сравнивали с Кафкой. Он, конечно, в этом сравнении по большинству статей проигрывает, и проигрывает сильно. Грубо говоря, Кафка в своих фантастических построениях гораздо дальше отходит от локальной конкретики Праги, его обобщения пронизательней и дальновидней, их художественная концентрация неизмеримо выше, его жутковатые видения потому и поражают с такой силой, что есть в них зловещая, противоестественная, почти кристальная прозрачность. Зато у Мейринка — особенно и в первую очередь в «Големе» — гораздо зримей и конкретней предстает та реальность, из которой взрастает феномен «пражского гротеска».

Нет нужды — да и трудно — пересказывать перипетии этой прихотливой, сложно сочиненной книги, герой которой чудаковатый гравер-реставратор Атанасиус Пернат то ли живописует свои сны, то ли и вправду переживает



таинственное превращение в Голема, искусственное существо, созданное по человеческому подобию неким раввином еще в конце XVI — начале XVII века и, согласно легенде, объявляющееся в городе каждые тридцать три года... Думаю, будет гораздо лучше, чтобы изобретательность и глубину мейринковской фантазии оценил широкий советский читатель, получив наконец доступ к тексту этого романа. Поводов и причин не издавать его не было никаких. Полагаю, опасаться этой книги могли — и с полным основанием — только идеологи нацистской Германии, когда вместе с книгами других прогрессивных авторов удостоили роман Густава Мейринка «Голем» чести сожжения на пресловутых книжных кострах.

*М. Рудницкий*

## Сон

Лунный луч падает в изножие моей кровати и лежит там как большой светлый плоский камень. Когда полная луна идет на убыль и левая половина ее начинает чахнуть,— подобно лицу, на худеющих скулах которого при встрече со старостью сперва проступают морщины,— в такие ночи мною овладевает смутная щемящая тоска.

Я не сплю и не бодрствую, и в моей полусонной душе пережитое сплетается с прочитанным и услышанным, как сливаются струи, отличающиеся друг от друга по цвету и прозрачности.

Прежде чем улечься, я читал жизнеописание Будды Гаутамы, и в игре бесчисленных комбинаций мое сознание снова и снова пронизывали слова:

«Подлетел ворон к камню, похожему на кусок сала, и подумал: авось тут удастся чем-нибудь полакомиться. Не найдя ничего, чем можно было бы поживиться, улетел ворон прочь. Так и мы, подобно ворону, кружащему над камнем,— мы, греховодники,— оставляем аскета Гаутаму, когда теряем к нему интерес».

И образ камня, похожего на кусок сала, увеличивается в моем мозгу до чудовищных размеров: я ступаю по высохшему руслу реки и собираю гальку.

Вот серо-голубая в сверкании вкрапленных пылинок, над которой я долго ломаю голову, но так и не могу решить, что же с нею делать; затем черная в сернисто-желтых пятнышках, где как бы отпечатались попытки ребенка

скопировать неповоротливую крапчатую саламандру.

И мне хочется зашвырнуть ее далеко от себя, эту гальку, но каждый раз камни выскальзывают из рук, и я не в состоянии дать глазу отдохнуть от их зрелища.

Все камни, что когда-то играли роль в моей жизни, внезапно всплывают вокруг меня.

Одни неуклюже бьются, чтобы выкарабкаться с отмели к свету, спасаясь от набегающей волны, словно крупные — под цвет сланца — раки-отшельники, им так хочется привлечь к себе мое внимание и поведать мне о безмерно важных вещах.

Другие — в изнурении — падают без сил обратно в свои норы, растеряв все слова.

Порою я пробуждаюсь от сумерек полусна и на миг снова замечаю, что на скомканном одеяле в изножии кровати лежит лунный луч как большой светлый плоский камень, чтобы заново брести ощупью за своим затухающим сознанием в тревожном поиске камня, измучившего меня, — похожий на кусок сала, он может прятаться где-нибудь в обломках моих воспоминаний.

Я представляю себе, что рядом с ним когда-то должна была упираться в землю водосточная труба — согнутая под тупым углом, с краями, изъеденными ржавчиной, — и усилием воли упорно пытаюсь задержать в душе этот образ, чтобы обмануть и убаюкать взбудораженные мысли.

Но мне не удается.

Снова и снова с нелепым постоянством в глубине души раздается упрямый голос — без усталости, как стук ставней, которыми ветер равномерно ударяет в стену: это вовсе не то, это вовсе не камень, похожий на сало.

И от голоса не отделаться.

Если я в сотый раз возражаю, что ведь это пустяк, голос ненадолго смолкает, а потом незаметно пробуждается вновь и настойчиво начинает сначала: ладно, ладно, пусть так, но это же не камень, похожий на кусок сала.

Мало-помалу мною овладевает невыносимое ощущение полной беспомощности.

Не знаю, что случилось потом. По своей ли воле прекратил я всякое сопротивление, или же меня одолели и сковали мои собственные мысли.

Знаю лишь, что мое спящее тело лежит в кровати, а мои чувства отделились от тела и больше от него не зависят.

Пытаюсь вдруг спросить, что такое теперь мое «я», но спохватываюсь, что у меня больше нет голоса, способного спрашивать; тогда мне становится страшно: ведь снова может раздаться докучливый голос и опять начнет бесконечное дознание про камень и сало.

И я просто стараюсь ничего не видеть и не слышать.

## День

И тогда я вдруг оказался в каком-то угрюмом дворе, сквозь рыжеватую арку ворот увидел по другую сторону узкой и грязной улочки еврея-старьевщика. Он стоял у подвала, верхний край входа был увешан ветхим металлическим хламом — сломанными инструментами, ржавыми стременами, коньками и множеством прочих допотопных вещей.

Подобное зрелище несло в себе удручающее однообразие, каким были отмечены все впечатления, изо дня в день — зачастую и так и этак — подобно разносчику переступавшие порог нашего опыта, картина не вызывала во мне ни любопытства, ни удивления.

Мне стало ясно, что я уже давно чувствовал себя здесь как дома.

Впрочем, и это чувство, вопреки его контрасту с тем, что я все же недавно испытал, попав сюда, не оставило во мне глубокого следа.

Однажды мне довелось услышать или прочитать о странном сравнении камня с куском сала, и внезапно этот образ пришел мне в голову, когда я поднялся по стертым ступенькам в свою каморку и мимоходом подумал о том, что мне напоминает лоснящийся каменный порог.

Тут я услышал над собою шаги, кто-то бежал сверху по лестнице, и, подходя к своей двери, я увидел четырнадцатилетнюю рыжеволосую Розину, соседку старьевщика Аарона Вассертрума.



Я вынужден был пройти вплотную к ней, а она встала спиной к лестничным перилам и призывно откинулась назад.

Свои грязные пальцы она положила на железную перекладину — для опоры, и я видел, как из тусклого полумрака бледно высвечивали оголенные по локоть руки.

Я постарался избежать ее взгляда.

Меня тошнило от ее назойливой ухмылки и воскового лица, напоминавшего морду игрушечной лошади-качалки.

Скорее всего, у нее пористое белое тело, предположил я, как у земноводной личинки, что я видел как-то в клетке для саламандр у торговца птицами.

Ресницы рыжих вызывали во мне такое же отвращение, как ресницы кролика.

Я распахнул дверь настежь и тут же закрыл за собой.

Из моего окна был виден старьевщик Аарон Вассертрум, по-прежнему торчавший у своего подвала.

Он прислонился у входа в сумрачный свод и щипцами стриг себе ногти.

Приходилась ли ему рыжая Розина дочерью или племянницей? Ведь он совсем не был похож на нее.

Среди еврейских лиц, ежедневно встречавшихся мне на Ханпасгассе, я четко распознавал различные колена Израилевы, которые даже благодаря близкому родству так же мало позволяли затушевывать непохожесть отдельных личностей, как смешивать масло с водой. Когда нельзя сказать: вон те, что там, братья или отец с сыном.

Тот принадлежит к одному колену, этот — к другому, вот все, что можно прочесть на их лицах.

И если бы даже Розина была вылитый старьевщик, это бы еще ничего не доказывало!

Такие колена питают друг к другу презрение и ненависть, разбивавшие даже тесные кровные узы, но они понимают, что это надо скрывать от постороннего взгляда, как страшную тайну.

Никому не дано разгадать ее, и в подобном единодушии они напоминают озлобленных слепцов, вцепившихся в мокрую грязную веревку: этот — обеими руками, другой — нехотя — одним пальцем, но, снедаемые суеверным страхом перед угрозой гибели, едва ли кто из них откажется от общей опоры и отстанет от остальных.

Розина принадлежит к тому колену, рыжеволосый тип которого еще более отталкивающ, чем другие. Мужчины этого типа узкогруды, у них длинные куриные шеи с выступающими кадыками.

Должно быть, они усыпаны веснушками с головы до ног и всю жизнь страдают в муках похоти и тайно ведут непрерывную безуспешную борьбу против своих страстей, испытывая вечный страх за свое здоровье.

Мне было непонятно, каким образом вообще можно представить Розину в родственных отношениях с Вассертрумом.

Я ведь никогда не видел ее вблизи старика и не замечал, чтобы они когда-нибудь хоть изредка перекинулись двумя-тремя словами.

Впрочем, она почти всегда находилась в нашем дворе или жалаась по темным углам и подъездам.

Все мои соседи, несомненно, считали ее близкой родственницей или, по крайней мере, воспитанницей Вассертрума, и тем не менее я был убежден, что ни у кого не могло быть оснований для подобных предположений.

Мне захотелось отвлечься от мыслей о Розине, и я взглянул в открытое окно своей каморки на Ханпасгассе.

Едва Аарон Вассертрум почувствовал, что я на него смотрю, он тут же поднял лицо ко мне.

Свое неподвижное уродливое лицо с круглыми рыбьими глазами и щелястой раздвоенной заячьей губой.

Он казался мне человеком-пауком, чужавшим малейшее прикосновение к паутине и притворившимся таким же безразличным ко всему.



На что он жил? О чем думал и что замышлял? Мне было неизвестно.

По верхнему краю каменного свода неизменно висят те же самые допотопные, никому не нужные вещи, не стоящие и ломаного гроша.

Я мог бы перечислить их с закрытыми глазами: вот помятый корнет-а-пистон без поршней, пожелтевшая цветная картинка на бумаге, где в каком-то невероятном строю были изображены солдаты. Связки ржавых шпор, нанизанных на заплесневевший кожаный ремень, и прочая наполовину истлевшая рухлядь.

А впереди на земле — ряд круглых металлических печных плит, уложенных вплотную друг к другу так, чтобы никто не мог переступить порог подвала.

Количество всех этих вещей всегда оставалось неизменным, и если в самом деле появлялся прохожий и спрашивал о цене той или иной вещи, старьевщик впадал в сильное волнение.

Он страшно вздымал заячью губу и раздраженно изрыгал клокочущим прерывистым басом какую-то невнятицу, отчего у покупателя пропадала всякая охота переспрашивать и он, огорошенный, торопливо шел восвояси.

Аарон Вассертрум молниеносно отвел глаза и теперь с напряженным вниманием рассматривал голые стены соседнего дома, вплотную примыкавшие к моему окну.

Только что он там мог увидеть?

Дом ведь стоял тылом к Ханпасгассе, а его окна смотрели во двор! Лишь одно выходило на улицу.

Случайно в помещение, расположенное на верхнем этаже, как и моя комната — думаю, оно принадлежало угловой студии, — кто-то в этот момент вошел, поскольку за стеною я вдруг услышал голоса мужчины и женщины, разговаривавших друг с другом.

Но было невероятно, чтобы старьевщик услышал их снизу!



За моей дверью кто-то копошился, и я догадался, что это была Розина, стоявшая в сумраке снаружи, с вождением ожидавшая, что я ее все-таки приглашу к себе.

А на пол-этажа ниже на лестнице, едва дыша, рябой подросток Лойза подстерегает, не открою ли я дверь. Я буквально чувствую его дыхание, исполненное ненавистью и жгучей ревностью ко мне.

Он боится подойти ближе, чтобы Розина не заметила его. Он знает, что зависит от нее, как голодный волк от сторожа, но тем не менее ему бы сейчас ринуться в прыжке и, забыв про все, дать волю своей ярости!

Я расположился за рабочим столом и вытащил пинцеты и штихели.

Но дело не ладилось, моя рука была недостаточно тверда, чтобы справиться с тонкостями японской гравюры.

Тусклое, угрюмое существование, которое влачат в этом доме, не дает мне покоя, и передо мной постоянно всплывают картины прошлого.

Близнецы Лойза и Яромир едва ли на год старше Розины.

Ненамного больше я мог помнить их отца, бывшего просвирника, теперь о них, кажется, заботится какая-то старуха.

Я только не знал, как она выглядит среди тех, кто скрывался в доме подобно кротам в своих норах.

Она заботится об обоих отроках, то есть дает им крышу над головой, за что они должны выкладывать ей все, что ненароком украли или напрошайничали.

Может быть, она еще и кормила их? Непохоже, так как старуха возвращалась домой только поздно вечером.

Говорили, что она обмывает покойников.

Лойзу, Яромира и Розину я застал еще детьми, когда они зачастую играли втроем в безобидные игры во дворе.

Много воды, однако, утекло с тех пор.

Теперь Лойза весь день ходит по пятам за рыжей еврейкой.

Порою он долго ищет ее впустую и, если нигде не может найти, крадется к моей двери и ждет со злой гримасой, когда она тайком придет сюда.

Сидя за работой, я мысленно представляю, как он подстерегает за дверью в коленчатом коридоре и подслушивает, опустив свой костистый затылок.

Иногда тишину внезапно нарушает истошный вопль.

Все помыслы глухонемого Яромира наполнены постоянной безумной тягой к Розине, он бродит вокруг дома как дикий зверь, и его нечленораздельный воющий рев, полуосмысленно издаваемый в муках ревности, звучит так зловеще, что кровь в жилах стынет.

Он ищет Лойзу и Розину, всегда подозревая, что они прячутся от него в одном из тысяч грязных закоулков, он слепнет от ярости, вечно подхлестываемый мыслью преследовать брата по пятам, чтобы с Розиной не произошло ничего, что осталось бы неизвестным ему.

И именно эти неслыханные муки калеки, понимаю я, служат возбудителем, подстегивающим Розину без конца искать новых встреч с другим.

Если же ее симпатия или рвение ослабевает, Лойза постоянно изощряется и придумывает особые гадости, чтобы снова разжечь похоть Розины.

Тогда они, нарочно или взаправду, дают глухонемому возможность догнать их и предательски заманивают буяна за собой в темные коридоры, где из ржавых обручей, взметающихся вверх, если на них наступить, и железных грабель, повернутых острыми концами наружу, они загодя сооружают коварную ловушку. Яромир сваливается на нее и ранится до крови.

Чтобы пытка стала нестерпимой, Розина время от времени сама, на свой страх и риск, придумывает какую-нибудь дьявольскую штуку.

Потом она одним махом изменяет отношение к Яромиру и притворяется, будто внезапно заинтересовалась им.

С неизменной ухмылкой она торопливо сообщает калек вещи, заставляющие его ужасно волноваться. Для этого она изобретает загадочный, наполовину понятный язык жестов, и глухонемой безнадежно запутывается в мертвой хватке сетей неизвестности и изнурительных надежд.

Однажды я видел, как он стоит перед ней во дворе, а она жестами и резко двигая губами уговаривает его, и я подумал, что в любой момент от дикого возбуждения он может лишиться рассудка.

От нечеловеческого напряжения его лицо залилось потом, он пытался уловить смысл намеренно неясного и торопливого сообщения Розины.

И весь следующий день он в лихорадочном ожидании прятался на темных лестницах полуразвалившегося дома, находившегося в конце узкой и грязной Ханпасгассе, и в итоге проворонил время, чтобы выклянчить у прохожих пару монет.

А когда поздно вечером, полуживой от голода и отчаяния, он захотел домой, его приемная мать давно заперла дверь.

Радостный женский смех из соседней студии проник сквозь стены ко мне.

Смех? В этих домах радостный смех? Во всем гетто нет никого, кто был бы способен смеяться.

Тогда я вспомнил, как несколько дней назад старый актер-кукловод Цвак доверительно сообщил мне, что молодой важный господин за высокую цену снял у него студию, видимо, чтобы иметь возможность встречаться со своей дамой сердца без соглядатаев.

Чтобы ни одна живая душа в доме ни о чем не догадалась, каждую ночь нужно было понемногу и скрытно носить наверх дорогую мебель нового жильца.

Потирая от удовольствия руки, добродушный старик рассказывал мне об этом и по-детски радовался, как он

все так ловко устроил: ни один жилец даже не догадался о романтической влюбленной паре.

Минуя три дома, можно было незаметно попасть в студию. Даже через чердачную дверь был проход!

Да, если открыть железную дверь чердака — а это очень легко сделать снаружи, — можно было, пройдя мимо двери моей каморки, попасть на лестницу нашего дома и использовать ее как выход...

Сверху снова раздался радостный смех и разбудил во мне смутные воспоминания об одном роскошном доме и знатном семействе, куда я был часто зван, чтобы реставрировать дорогие антикварные вещи.

Внезапно поблизости я слышу пронзительный крик. Я испуганно вслушиваюсь.

Резкий хрип железной чердачной двери, и в следующий момент в мою комнату врывается женщина.

С распущенными волосами, бледная как смерть, с золотистой парчовой накидкой на обнаженных плечах.

— Мастер Пернат, ради Христа, спрячьте меня, не спрашивайте, спрячьте меня здесь!

Не успел я ответить, как дверь вторично рывком распахнулась и тотчас снова захлопнулась.

На секунду в нее просунулось оскалившееся лицо Аарона Вассертрума, похожее на страшную маску.

Круглое блестящее пятно всплывает передо мной, и в лунном свете я вновь узнаю изножие своей кровати.

Сон еще давит на меня, как тяжелый шерстистый покров, и в памяти всплывает имя Пернат, написанное золотыми буквами.

Где же я прочел это имя — Атанасиус Пернат?

Я все думаю и думаю, что однажды давным-давно я где-то перепутал свою шляпу с чужой и тогда же удивился, что она пришлась мне в самую пору, хотя голова моя была чрезвычайно странной формы.

Я заглянул внутрь чужой шляпы — да-да, там на белой подкладке находились позолоченные бумажные буквы:

### АТАНАСИУС ПЕРНАТ

Не знаю почему, но я в испуге отшатнулся от этой шляпы.

Тут внезапно раздался голос, о котором я позабыл и который, вечно пытаюсь дознаться у меня, где находится камень, похожий на сало, метнулся навстречу мне словно стрела.

Я немедленно представляю себе четкий, слащаво улыбающийся профиль рыжей Розины, и таким манером мне удается увернуться от стрелы, тут же исчезнувшей в потемках.

Да, лицо Розины! Оно все-таки действует более сильно, чем тупо бубнящий голос; и сейчас, когда я снова укроюсь в своей каморке на Ханпасгассе, то совсем успокоюсь.

## «И»

Если я не обманывался в ощущении того, что кто-то поднимается за мной на определенном, одном и том же, расстоянии по лестнице, чтобы посетить меня, то этот кто-то должен был теперь находиться приблизительно на последней лестничной площадке.

Сейчас он огибает угол, где находится квартира архиварисуса Шмаи Гиллеля, и ступает со стертого кафеля на лестничную площадку верхнего этажа, выложенную красным кирпичом.

Вот он ощупью шарит вдоль стены и сейчас, именно сейчас, с большим трудом разбирая впотьмах буквы, прочтет мою фамилию на дверной табличке.

Выпрямившись, я встал посередине комнаты и взглянул на дверь.

Вот дверь отворилась, и он вошел.

Он сделал полшага навстречу ко мне, не снимая шляпы и не здороваясь.

Я понимал, что он держался как у себя дома, и нашел совершенно естественным, что он вел себя так, а не иначе.

Он опустил руку в карман и извлек оттуда книгу.

Потом долго перелистывал ее.

Переплет был металлическим, а углубления в форме розеток и печатей раскрашены и заполнены крошечными камешками.

Наконец он нашел нужный отрывок, который искал, и указал на него.





Глава называлась «Иббур». «Духовное зачатие», — перевел я.

Я невольно проскочил ее глазами. Буква была помята с краю.

Мне следовало бы ее поправить.

Инициал не был наклеен на пергамент, как это мне случалось встречать прежде в старинных книгах, более того, он, видимо, состоял из двух листиков тонкого золота, спаянных в центре и концами охвативших пергамент по краям.

Значит, там, где находилась буква, в странице вырезано отверстие?

Если это так, тогда на следующей странице «И» должна стоять обратной стороной?

Я перевернул страницу, и моя догадка подтвердилась.

Невольно я прочел и эту, и следующие страницы.

И продолжал читать дальше и дальше.

Книга взывала ко мне, как взывает сон, только яснее и гораздо понятнее и взволновала мою душу, как волнует загадка.

Слова истекали из невидимых уст, оживали и приближались ко мне. Они кружились и вертелись передо мной в разные стороны, словно рабыни в пестрых одеяниях, потом исчезали под землей или растворялись подобно серебристому мареву в воздухе, уступая место следующим. Каждая хотя бы минуту надеялась, что я изберу ее и тут же отвергну другие.

Некоторые из тех, кто шествовал, блистая роскошью, словно пава, были одеты в сверкающие одеяния, и поступь их была нетороплива и степенна.

Другие выглядели как королевы, но уже состарившиеся, отжившие свое, с подведенными веками, порочными складками у рта, с морщинами, похороненными под отвратительными румянами.

Я не обращал на них внимания и смотрел на шедших следом за ними. Мой взгляд скользил по бесконечной вере-

нице серых фигур с такими заурядными и маловыразительными лицами, что казалось невозможным, чтобы они оставили след в памяти.

Волоком они притащили за собой женщину, совершенно обнаженную, она была исполинского роста, словно медный колосс.

На миг женщина остановилась передо мной и затем наклонилась ко мне.

Ее ресницы были длиной в мой рост, она безмолвно показывала на пульс своей левой руки.

Он бился с силой, равной землетрясению, и я чувствовал, что это бьется жизнь вселенной.

Вдали буйствовал хоровод корибантов\*.

Какие-то мужчина и женщина сплелись в объятии. Мне было видно, как они подходят все ближе и как все ближе бужуется хоровод.

Теперь я вплотную слышал шумные гимны охваченных экстазом фигур, а мои глаза искали сплетенную в объятии пару.

Однако она приняла целокупную форму и сидела — полумужчина-полуженщина, гермафродит, — на перламутровом троне.

Голову гермафродита венчала корона из красного дерева — червь разрушения подточил и прогрыз внутри нее загадочные рунические знаки.

Следом в облаке пыли торопливо семенило стадо небольших слепых агнцев: съедобных тварей гнал во главе своей свиты двупольный великан, чтобы поддерживать жизнь в корибантах.

Порою среди фигур, истекающих из невидимых уст, встречались и такие, что восстали из могил с платками на лице.

И, замирая передо мной, они внезапно срывали свои

\* В греческой мифологии — демонические существа, служившие богине материнства и плодородия Кибеле. (Здесь и далее — прим. перев.)

покровы и голодным хищным взглядом пронзали мою душу. Леденящий ужас сковывал мой мозг, и кровь моя останавливалась подобно потоку, в который с небес низверглись каменные глыбы — внезапно в сердцевину русла.

Женщина пролетала надо мной. Я не видел ее лица, она отвернулась, и на ней был плащ из струящихся слез.

Ряженные плясали, ржали и не горевали обо мне.

Только Пьеро в задумчивости оглядывается на меня и возвращается обратно. Садится передо мной и всматривается в мое лицо, как в зеркало.

Он корчит такие странные рожи, вздымает руки и машет ими то медленно, то с бешеной скоростью, что у меня возникает таинственный порыв подражать ему, подмигивать, как он, подергивать плечами и растягивать уголки рта.

В это время его нетерпеливо начинают отталкивать в сторону напирющие сзади фигуры, и каждая из них жаждет предстать передо мной.

Однако все существа преходящи.

Они — скользящие на шелковой нитке перлы, отдельные звуки одной-единственной мелодии, истекающей из невидимых уст.

Это была больше не книга, взывавшая ко мне. Был явлен голос. Голос, требовавший от меня чего-то, чего я не мог понять, сколько бы ни бился. Он изводит меня жгучими непонятными вопросами.

Но голос, произносивший эти зримые слова, угасал, и угасал без отзвыва.

У каждого звука, раздающегося в сегодняшнем мире, есть множество эхо, как у каждой вещи есть множество длинных теней и множество куцых. Но у этого голоса больше не было эха — уже давным-давно оно рассеялось и отзвучало.

И я до конца прочел книгу и еще держал ее в руках,

когда мне почудилось, будто я ищу нужную мне страницу не в самой книге, а в своей голове!

Все, что вещал мне голос, что я с рождения носил в себе, было только скрыто и забыто и хранилось в тайне от моего сознания до сегодняшнего дня.

Я поднял глаза.

Куда исчез человек, принесший мне книгу?

Ушел?

Заберет ли он книгу, если она закончена? Или я должен вернуть ее ему?

Однако я никак не мог припомнить, сообщил ли он, где живет.

Мне хотелось воскресить в памяти его приход, но это не удавалось.

Во что он был одет? Старый или молодой? И какого цвета у него были волосы и борода?

Ничего, решительно ничего не мог я теперь воспроизвести.

Все портреты, написанные мной с него, неудержимо расплывались, прежде чем я мысленно успевал сопоставить их друг с другом.

Я закрыл глаза и надавил ладонью на веки, чтобы схватить хотя бы самую малую деталь в его облике.

Пустота, пустота.

Я остановился в центре комнаты и взглянул на дверь, как я это сделал раньше, когда он вошел, и начал воображать: вот он обходит угол, вот ступает на кирпичный пол, теперь читает дверную табличку «Атанасиус Пернат», а теперь входит. Напрасный труд.

Мне не удалось восстановить в памяти ни малейшего следа того, как он выглядел внешне.

На столе я видел книгу и мысленно представлял руку, извлекающую книгу из кармана и протягивающую ее мне.

Я даже не мог вспомнить, была ли рука в перчатке

или оставалась обнаженной, молодая или морщинистая, украшена кольцами или нет.

И тогда меня вдруг осенила необычная идея.

Как будто она была внушена мне, и я был не в силах сопротивляться ей.

Я надел пальто, водрузил на голову шляпу, вышел в коридор и спустился по лестнице. Затем не спеша стал возвращаться к себе в каморку.

Я шел так же медленно, как он, когда поднимался ко мне. И, едва открыв дверь, увидел, что моя каморка погружена в сумрак. Разве не было еще светло, когда я только что выходил?

Сколько же времени я ломал себе голову, если не заметил, что уже давно стемнело!

И я попытался воспроизвести походку и выражение лица незнакомца, но ничего не мог вспомнить.

Впрочем, мог ли я добиться успеха, копируя незнакомца, если у меня не было ни малейшего представления о его внешности?

Однако вышло иначе. Совсем иначе, чем я думал.

Моя кожа, мускулы, тело вдруг обрели память, обойдясь без помощи мозга. Они двигались вопреки моим желаниям и намерениям.

Как будто мое тело больше не принадлежало мне!

Едва я сделал несколько шагов по комнате, как моя походка стала тяжелой и непривычной для меня.

«Это шаркающая походка человека, готового в любое время упасть», — сказал я себе.

Да, да, да, то была его походка!

Мне стало совершенно ясно — это именно он.

У меня было чужое безбородое лицо с выдающимися скулами и раскосыми глазами.

Я чувствовал это, но не мог взглянуть на себя со стороны.

Это не мое лицо, в ужасе хотелось мне закричать, я

пытался ощупать его, но рука не повиновалась мне, а опустилась в карман и извлекла книгу.

Точь-в-точь так же, как он это делал недавно.

Вдруг я снова оказался за столом без шляпы и пальто, и этот я был я. Я. Я.

Атанасиус Пернат.

Меня трясло от ужаса и страха, сердце вот-вот готово было разорваться, и я чувствовал: таинственные пальцы, только что шарившие в моем мозгу, оставили меня в покое.

Я еще ощущал в затылке ледяной след от их прикосновения.

Теперь я знал, как выглядел незнакомец, и мог бы снова почувствовать его в себе в любой момент, стоило мне лишь захотеть; но представить себе его облик, чтобы видеть его перед собой лицом к лицу,— этого я все еще не мог сделать, а впрочем, никогда и не смог бы.

Я понимал, что он выглядел как негатив, незримая пустая форма, контуров которой я не в состоянии осмыслить, в чье нутро я обязан проскользнуть сам, если мне хочется узнать ее облик и внешний вид в собственном «я».

В ящике моего стола стояла железная шкатулка, в нее я хотел спрятать книгу; пока не обострился приступ душевной болезни, мне снова хотелось взять ее и поправить испорченную заглавную «И».

Я взял книгу со стола.

И у меня возникло ощущение, будто я и не брал ее. Я взял шкатулку — то же самое чувство. Словно прикосновению пришлось преодолеть огромное пространство, погруженное в глубокий мрак, прежде чем дойти до моего сознания, как будто предметы были отдалены от меня годовым пластом времени и принадлежали прошлому, давным-давно ушедшему из моей жизни.

Голос, кружащий в темноте, чтобы найти меня и изводить

засаленным камнем, пролетает мимо и не замечает меня. И я знаю, что он родом из царства сновидений. Но то, что я пережил, было реальной жизнью — поэтому он не в силах увидеть меня и ищет впустую, вот что я чувствую.



## Прага

Рядом со мною стоял студент Хароузек, воротник его тонкого, потертого летнего пальто был поднят, и я слышал, как он от холода клацал зубами.

Он может замерзнуть до смерти, сказал я про себя, в этой продуваемой насквозь ледяной арке ворот, и пригласил его к себе домой.

Но он отказался.

— Благодарю вас, мастер Пернат,— пробормотал он дрожа,— к сожалению, у меня не так много времени, мне срочно нужно в город. К тому же мы промокнем до ниточки сразу же, как только выйдем на улицу, уже через несколько шагов. Ливень не стихнет!

Водяные потоки обрушивались на крыши и сбегали по фасадам домов рекою слез.

Я высунул голову из-под арки и увидел на четвертом этаже свое окно, орошаемое дождем. Казалось, стекла размякли, стали мутными и бугристыми, как рыбий клей.

Желтый грязный ручей стекал по переулку, арка ворот заполнялась прохожими, ждавшими окончания грозы.

— Вон плывет свадебный букет,— вдруг проговорил Хароузек и показал на увядшие миртовые стебли, которые несла мутная вода. Сзади нас кто-то громко рассмеялся.

Обернувшись, я увидел, что это был пожилой, хорошо одетый седой мужчина с одутловатым, как у крота, лицом.

Хароузек тоже оглянулся и что-то буркнул себе под нос.

Было что-то отталкивающее в старике, я отвернулся и

стал разглядывать безобразно выкрашенные дома, жавшиеся друг к другу, как сердитые старые звери под дождем.

До чего же у них был неуютный и заброшенный вид!

Возведенные без всякого плана, дома высились здесь как плевелы, пробившиеся сквозь землю.

Они примыкали к низкой каменной стене, единственному уцелевшему остатку длинного здания, построенного прежде других. Воздвигнутые два-три столетия назад, они не считались с соседством прочих сооружений. Вон там стоит косоугольный дом с уходящим назад лбом, а рядом другой, выступающий подобно клыку.

Под хмурым небом они выглядели так, будто уснули, и ничто не говорило о злобе и вражде, порою источаемой ими, когда в переулок спускалась хмарь осенних вечеров и помогала скрыть их вялые, едва заметные гримасы.

За долгие годы жизни во мне укоренилось чувство, от которого я не могу избавиться: как будто этим домам отведены определенные ночные часы и раннее утро, когда они, волнуясь, собираются на бесшумный таинственный совет. И тогда порою их стены охватывает легкая необъяснимая дрожь, по их крышам струятся шорохи и низвергаются в водосточные трубы — и мы небрежно принимаем их жизнь с тупым равнодушием, не докапываясь до ее первоосновы.

Зачастую мне снилось, что я как будто подглядывал за этими домами в их призрачном житье-бытье и с удивлением и тревогой узнавал, что тайными, настоящими хозяевами переулка были они, чуждые жизни и сознанию и способные заново вернуть их себе. Днем они могли ссудить эту жизнь жильцам, приютившимся здесь, чтобы ночью вновь потребовать ее возврата с ростовщическим прибытком.

Перед моим мысленным взором проходили странные люди, жившие в них как тени, как существа, рожденные не от женщин, в своих помыслах и делах казавшиеся

сшитыми из разных кусков без разбора. И я больше чем когда-либо склонен был думать, что подобные сны скрывали в себе темные истины, продолжавшие мерцать для меня наяву только как впечатления от красочных сказок души.

Тогда во мне снова украдкой воскресает легенда о таинственном Големе, искусственном человеке, которого однажды здесь, в гетто, вылепил из глины раввин, знавший Каббалу как свои пять пальцев и заставлявший его действовать бездумно и автоматически, вложив ему в рот печать с магическими знаками.

И подобно тому как Голем в ту же самую секунду становился глиняным истуканом, если тайные знаки жизни извлекались из его рта, так и все эти люди, думалось мне, должны были мгновенно падать замертво, если у одного из головы исчезали его жалкие понятия, мелочные заботы, может быть, нелепые привычки, а у другого и вовсе испарялась смутная надежда на что-то совершенно расплывчатое и шаткое.

И какая постоянная пугливая настороженность жила в этих созданиях!

Никогда их не было видно за работой, этих людей, и тем не менее они вставали ни свет ни заря и ждали с затаенным дыханием — так ждут жертву, которая, однако, никогда не появляется.

Но однажды кто-то в самом деле переступил их пределы, какой-то беззащитный человек, на котором они могли бы нажиться, как вдруг на них напал парализующий страх, загнавший их в свои углы, и они в ужасе отказались от всяких замыслов.

Никто им не кажется достаточно слабым, чтобы у них нашлась изрядная доля мужества обратять его.

— Выморочные беззубые хищники, лишенные власти и оружия, — задумчиво произнес Хароузек и посмотрел на меня.

Откуда ему было знать, о чем я думаю? Я чувствовал,

что порой его мысли могли настолько сильно возбуждаться, что были в состоянии перескакивать в мозг стоявшего рядом человека, как брызжащие искры.

— ...На что они только живут? — спросил я после небольшой паузы.

— На что живут? Да один из них миллионер!

Я взглянул на Хароузeka. Что это значило?

Но студент молчал, уставясь в пасмурное небо.

На минуту журчащий шепоток под аркой смолк, и был только слышен шелест дождевых струй.

Что же он хотел этим сказать — «Один из них миллионер!»?

Снова вышло так, будто Хароузек разгадал мои мысли.

Он показал на лавку старьевщика, расположенную рядом с нами, струи воды смывали ржавчину с железного хлама, расплзавшуюся в рыже-бурую лужу.

— Аарон Вассертрум! Он, к примеру, миллионер — в его владении почти треть еврейского квартала. Так вы, господин Пернат, не знаете этого?!

— Аарон Вассертрум! Старьевщик Аарон Вассертрум — миллионер?! — Я буквально задохнулся.

— О, я его насквозь вижу, — продолжал злорадно Хароузек, как будто только и ждал моего вопроса. — Я знал и его сына, доктора Вассори. Никогда о нем не слышали? О докторе Вассори — знаменитом окулисте? Еще год назад весь город восторгался им как великим ученым. В то время никто не знал, что он сменил свою фамилию и что раньше его фамилия была Вассертрум. Ему нравилось разыгрывать из себя человека науки, не от мира сего. И если когда-нибудь заходила речь о предках, он со скромностью и глубоким волнением бросал короткое замечание, что его отец был родом из гетто и, чтобы выбиться из самых низов вверх, к свету, из бесконечного горя и несказанных забот, он должен был в поте лица добывать хлеб свой. Да! Среди горя и забот!

Но *чьими* заботами и горем и какими средствами он вышел в люди — об этом молчок!

А я-то знаю, какие дела творились в гетто! — Хароузек схватил мою руку и крепко сжал ее.

— Мастер Пернат, я настолько беден, что вряд ли даже это как следует сознаю, я хожу оборванцем, точно бродяга, взгляните-ка, а я все-таки студент-медик, образованный человек!

Он рывком распахнул свое пальто, и я, к ужасу своему, увидел, что на нем нет ни сорочки, ни сюртука, пальто надето прямо на голое тело.

— И я был так же беден, когда сбил с ног этого выродка, всемогущего и знаменитого доктора Вассори, но сегодня еще никто не догадывается, что я и только я был настоящим виновником его гибели.

В городе ходят слухи, что виновником был известный доктор Савиоли, вытащивший на свет божий его грязные делишки и доведший его до самоубийства. Доктор Савиоли, скажу я вам, был только моим орудием. Я сам придумал план и собрал материал, добыл доказательства, тихо и незаметно расшатал камень за камнем все здание доктора Вассори, пока не добился того, что ни уловки гетто, ни все золото мира не могли предотвратить его падения, для чего потребовался еще только один незаметный удар.

Понимаете, точь-в-точь как в игре в шахматы.

Именно так. Как в игре в шахматы.

И никто не подозревает, что это был я!

Старьевщику Вассертруму, пожалуй, иногда не дает спать страшная догадка, что тот, кого он не знает, кто всегда рядом с ним, но кого он все-таки не в силах схватить за руку, — вовсе не доктор Савиоли, а тот, кто заварил эту кашу.

И хотя Вассертрум из тех, кто видит сквозь стены, все-таки он не понимает, что существует мозг, способный вычислять, умеющий, как невидимая отравленная игла, прон-

зять такие стены, минуя каменные плиты, золото и алмазы, чтобы поразить скрытую живую артерию.

Хароузек ударил себя по лбу и залился диким хохотом:

— Скоро Аарон Вассертрум узнает про это: день в день, когда схватит доктора Савиоли за глотку! Тютелька-в-тютельку!

Я рассчитал шахматную партию до последнего хода. На этот раз состоится королевский гамбит. Тут до трагического конца нет ни одного хода, против которого я бы не знал убийственного ответа.

Принявший мой гамбит теряет почву под ногами, скажу я вам, как беспомощная марионетка на тонких ниточках — на ниточках, за которые дергаю я — вникайте,— за которые дергаю я и посылаю привет свободе воли...

Студент говорил как в бреду, и я в ужасе смотрел на него.

— Что же все-таки сделали вам Вассертрум и его сын, за что вы их так ненавидите?

— Не будем про это,— резко возразил Хароузек.— Лучше спросите, как доктор Вассори сломал себе шею! Или вам угодно, чтобы мы поговорили об этом в другой раз? Дождь прошел. Может быть, вам пора домой?

Он понизил голос, словно человек, неожиданно взявший себя в руки. Я покачал головой.

— Слышали вы когда-нибудь, как в наше время лечат глаукому? Нет? В таком случае разъясню вам, мастер Пернат, чтобы вы знали все подробности.

Так слушайте. Стало быть, глаукома — тяжелое заболевание внутри глаза, неизбежно кончающееся слепотой. Существует только одно средство остановить надвигающуюся беду — так называемая иридэктомия, суть ее в том, что из радужной оболочки глаза вырезается крохотный клиновидный кусочек.

Неизбежные следствия операции — весьма ужасные признаки потери зрения. Однако процесс, ведущий к полной слепоте, в большинстве случаев удавалось прекратить.

Но в диагнозе глаукомы есть одна любопытная деталь. Иными словами, бывают периоды, особенно в начале болезни, когда, видимо, ясные признаки ее нельзя обнаружить. В подобных случаях врач хотя и не в состоянии поставить точный диагноз, однако и он не может с определенностью сказать, что его предшественник, придерживавшийся другой точки зрения, наверняка ошибся.

Но если вышеупомянутая иридэктомия, имела место, то независимо от того, была она сделана на больном или здоровом глазу, уже невозможно определить, существовала ли до этого глаукома на самом деле или нет.

На подобных и других обстоятельствах доктор построил свой дьявольский план.

Бесконечное количество раз он констатировал глаукому — особенно у женщин, — когда обнаруживал обычную слабость зрения, чтобы только провести операцию, не доставлявшую больших хлопот, но доставлявшую немалый барыш.

Тогда в конце концов совершенно беззащитный человек попадал в его руки; и тогда этому выродку и разбойнику незачем было проявлять храбрость.

Как видите, мастер Пернат, выморочный хищник оказался в таких условиях, когда, лишенный власти и оружия, он мог терзать свою жертву.

Без какого-либо участия в игре, — понимаете? — не рискуя даже самым малым!

Благодаря множеству сомнительных публикаций в научных журналах доктор Вассори стал пользоваться славой первоклассного специалиста и был известен даже среди своих коллег, людей весьма доверчивых и порядочных для того, чтобы замечать, как им пускают пыль в глаза.

Естественным следствием этого был поток пациентов, обращавшихся к доктору Вассори за помощью.

Если теперь кто-то приходил к нему и просил обследовать его, доктор Вассори с коварной осмотрительностью немедля приступал к делу.

Он прежде всего проводил обычный опрос больного, но, чтобы потом во всех случаях выйти сухим из воды, всегда искусно записывал ответы, относящиеся только к глаукоме.

И осторожно выводывал, не ставился ли диагноз когда-нибудь раньше.

В ходе беседы он как бы невзначай замечал, что к нему обратились с настоятельной просьбой из-за границы срочно приехать с целью принять участие в серьезном научном совещании, и поэтому завтра он уже должен отбыть.

С помощью офтальмоскопа с электрическим световым лучом он умышленно заставлял страдать больного, пока тот мог терпеть.

Все с умыслом! Все с умыслом!

Когда опрос оканчивался и пациент задавал обычный робкий вопрос, нет ли оснований для опасений, доктор Вассори делал свой первый шахматный ход.

Он садился напротив больного, выдерживал минутную паузу, а затем солидным и звонким голосом выдавал фразу: «В самом ближайшем времени полная слепота обоих глаз неизбежна!»

Следующая за этим сцена, разумеется, была ужасна. Почти всегда люди падали в обморок, плакали и кричали или в диком отчаянии бросались на пол.

Зрение потерять — все потерять.

И если повторялась обычная картина, когда несчастная жертва охватывала колени доктора Вассори и, умоляя, спрашивала, неужели на всем божьем свете больше не от кого ждать помощи, этот выродец делал второй ход в партии и преображал самого себя в Него — Бога, который мог бы спасти!

Мастер Пернат, весь мир — шахматная доска!

Немедленная операция, говорил доктор Вассори после некоторого раздумья, вероятно, единственное, что могло бы спасти. И с диким, необузданным тщеславием, внезапно



охватывавшим его, он расхаживал, захлебываясь в безудержном потоке красноречия, живописно многоглаголя о том или ином случае, имеющем необычайно большое сходство с данным случаем.

Он буквально наслаждался ощущением, что его принимали за своего рода высшее существо, в руке коего находились добро и зло его ближних.

Но беззащитная жертва сидела перед ним сломленная, сердце наполнилось жгучими вопросами, холодный пот выступал на лбу, и она не решалась хотя бы раз прервать его из страха рассердить единственного, кто еще в силах спасти.

И, говоря, что он, к сожалению, может приступить к операции только через несколько месяцев, когда вернется назад, доктор Вассори заканчивал свой монолог.

«Надо надеяться,— заключал он,— в таких случаях всегда нужно надеяться на лучшее, что к тому времени еще не будет поздно».

Ну и конечно, больные в ужасе вскакивали, объясняли, что ни за что не хотят откладывать операцию даже на день, умоляюще просили совета, к какому хирургу, делающему ее, можно обратиться в городе.

Тут-то и наступало время, когда доктор Вассори наносил решающий удар.

В глубоком раздумии он расхаживал по кабинету, горькие складки бороздили его чело, и наконец огорченно шепотом он произносил, что вмешательство со стороны *другого* врача приведет, к сожалению, к повторному освещению глаза электрическим светом, а это — естественно, пациент знает сам, как болезненна такая процедура из-за ослепительного луча,— может подействовать прямо-таки роковым образом.

Итак, другой врач полностью исключается, поскольку среди хирургов редко кто владеет необходимым навыком. Именно потому, что врач должен заново обследовать глаз

по истечении долгого времени, дав успокоиться зрительному нерву, хирургическое вмешательство откладывается...

Хароузек сжал кулаки.

— На языке шахматистов это мы называем «цугцвангом», дорогой мастер Пернат! То, что следовало дальше, снова оказывалось цугцвангом — партия шла к форсированному окончанию.

Полуобезумевший от отчаяния пациент умолял доктора Вассори, чтобы тот проявил сострадание, отложил бы на день свой отъезд и провел операцию сам. Жуткий, мучительный страх каждую минуту лишиться зрения действовал все же еще больше, чем страх мгновенной смерти, и это было, конечно, самым ужасным, что можно себе представить.

И чем больше выродок ерепенился и жаловался — дескать, отсрочка отъезда принесет ему невероятные убытки, тем выше ставки добровольно предлагали больные.

Когда наконец сумма казалась доктору Вассори достаточно большой, он соглашался и в тот же день, прежде чем случайность могла раскрыть его карты, наносил обоим здоровым глазам у людей, достойных сострадания, непоправимый ущерб, оставляя то постоянное ощущение слепоты, которое превращало жизнь в сплошную муку, но каждый раз ему удавалось замести следы своего преступления.

Благодаря таким операциям на здоровых глазах доктор Вассори умножил не только свою славу и репутацию выдающегося врача, которому всегда удавалось предотвратить угрозу слепоты, — это в то же время утоляло его ненасытное сребролюбие и тешило тщеславие, когда наивные жертвы с ограбленными карманами и таким же зрением смотрели на него как на заступника и благословляли как спасителя.

Человек, всеми нитями связанный с гетто и выросший в него бесконечными невидимыми и тем не менее неоодолимыми корнями, наученный с детства подстерегать в засаде как паук, знавший в городе всех и каждого и в любом пустяке угадывавший и видевший насквозь их отношения и де-

нежные связи,— только такой человек — пусть его называют чуть ли не «полуясновидцем» — мог долгие годы совершать подобные мерзости.

И если бы не я, он и по сию пору еще занимался бы своим ремеслом и продолжал бы его до глубокой старости, чтобы наконец в качестве почтенного патриарха, в кругу своих близких удостоившегося высших почестей, в качестве яркого примера для будущих поколений наслаждаться на закате жизни, покуда — покуда над ним в конце концов не пропели бы «С великим сдохшим упокой...»

Но я тоже вырос в гетто, и моя кровь также насыщена дьявольским коварством, и я низверг его, как низвергают человека невидимые призраки, как поражает гром среди ясного неба.

Молодому немецкому врачу доктору Савиоли принадлежит заслуга в разоблачении Вассори, я стоял за его спиной и собирал факт за фактом, пока не наступил день, когда рука прокурора достала доктора Вассори.

Тут-то выродок и покончил с собой! Благословен тот час!

Словно рядом с ним стоял мой двойник и направлял его руку — он лишил себя жизни, выпил амилнитрит из колбы, оставленной мной умышленно на всякий случай в его ординаторской, когда однажды я сам уговаривал его поставить мне тоже ложный диагноз глаукомы, умышленно и страстно желая — пусть этот амилнитрит нанесет ему последний удар.

В городе ходили слухи, что его хватил кондрашка.

Вдыхаемый амилнитрит смертелен, как апоплексия. Но долго принимать эти слухи на веру было невозможно.

Хароузек рассеянным взглядом уставился в одну точку, как будто углубился в решение глубоких проблем, потом пожал плечами, показывая в сторону лавки Аарона Вассертрума.

— Теперь он один,— пробормотал он,— один-одине-

шенек, наедине со своей алчностью и... и... с восковой куклой!

Сердце мое подпрыгнуло к горлу.

В ужасе смотрел я на Хароузeka.

Может, он сумасшедший? Ведь только бредовые фантазии заставляли его выдумывать подобные вещи.

Ну конечно, конечно! Он придумал, ему все приснилось!

Не могли быть правдой ужасы, рассказанные им об окулисте. Он ведь чахоточный, и его мозг в бреде предсмертной лихорадки.

И мне захотелось успокоить его шутками, направить его мысли в разумное русло.

И здесь, прежде чем я подобрал слова, как молния мелькнуло в моей памяти лицо Вассертрума с заячьей губой, когда он в прошлый раз заглянул в мою каморку, зыркнув рыбьими глазами в распахнутую дверь.

Доктор Савиоли! Доктор Савиоли! Да-да, так же звали молодого человека, о котором мне доверительным шепотом рассказал актер-кукловод Цвак, сдавший ему свою студию, как о важном квартиросъемщике.

Доктор Савиоли! Как громкое эхо всплыло это имя в моей душе. Вереница расплывчатых картин трепетала в моем сердце, вызывая страшные подозрения, обрушившиеся на меня. Мне хотелось расспросить Хароузeka, от страха рассказать ему быстрее все, что я в тот раз пережил, и тут я увидел, что им овладел приступ резкого кашля и он вот-вот упадет. Я успел еще только заметить, как он, с трудом опираясь о стену, еле волочит ноги по лужам, кивнув мне головой на прощанье.

Да, да, он прав, он говорил не в бреде, понимал я, это неуловимая тень преступления, крадущаяся по переулку днем и ночью и пытающаяся обрести плоть и кровь.

Она носится в воздухе, но мы не замечаем. Вдруг эта тень низвергается в человеческую душу, мы не догадываемся —

тут ли, там ли. И прежде чем успеваем понять, бесформенное обрело форму и все давным-давно свершено.

И только еще смутные толки о каком-то ужасном происшествии доходят до нас.

Я сразу же понял эти загадочные создания, обитавшие вокруг меня, в их внутренней сути: их безвольно несло по жизни, поддерживаемой невидимым магнетическим течением, так же как недавно в грязной водосточной канаве проносило свадебный букет новобрачных.

Мне казалось, будто все дома устали на меня хитрыми глазами, полными неопишуемой злобы, а ворота распахнули черные пасти, из которых вырвали языки,— глотки, готовые издать оглушительный вой, настолько оглушительный и полный злобы, что от страха душа уйдет в пятки.

Что же еще сказал в конце студент о старьевщике? Я шепотом повторил его слова: Аарон Вассертрум наедине со своей алчностью и восковой куклой.

Что он подразумевал под восковой куклой?

Это могло быть всего лишь сравнением, успокаивал я себя, одной из тех болезненных метафор, с которыми он обычно нападал врасплох, они были непонятны собеседнику — метафоры, ставшие позднее зримыми, могли испугать до глубины души, как вещи необычной формы, когда на них внезапно падает яркий луч света.

Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться и избавиться от жуткого впечатления, произведенного на меня рассказом Хароузэка.

Я лучше теперь различал людей, стоявших со мною под аркой,— рядом находился тучный старик. Тот самый, что недавно так отвратительно смеялся.

Он был в черном сюртуке и перчатках и пристально смотрел разгоревшимися глазами на арку ворот у противоположного дома.

Его гладко выбритое лицо с мясистыми вульгарными складками подергивалось от возбуждения.

Невольно последовал я за его взглядом и заметил, что он как зачарованный прилип глазами к рыжей Розине, стоявшей по ту сторону переулка с неизменной ухмылкой на губах.

Старик пытался делать ей знаки, и я видел, что она все хорошо понимает, но ведет себя так, словно до нее ничего не доходит.

Наконец старик потерял терпение, зашлепал на носках и смешно поскакал по лужам, как большой гуттаперчевый мячик.

Его, видно, все знали — я услышал немало насмешливых замечаний в его адрес. Бродяга за моей спиной с красным вязаным шарфом на шее, в голубой военной фуражке и сигаретой за ухом, осклабясь, намекал на то, в чем я не разбирался.

Я только понял, что в еврейском квартале старика звали «вольным каменщиком». После упоминания клички кто-то заметил, что старик, как обычно, изнасилует девчонку, но благодаря тому, что он свой человек в полиции, ему все сойдет с рук.

Вскоре Розина и старик исчезли в сумраке подъезда.

## Пуш

Мы растворили окна, чтобы проветрить мою прокуренную каморку.

Холодный ночной ветер гулял по комнате и забирался в повешенные на двери мохнатые пальто, слегка колыхавшиеся из стороны в сторону.

— Краса и гордость макушки Прокопа страсть как хочет упорхнуть,— сказал Цвак и показал на фетровую шляпу музыканта: ее широкие поля шевелились словно черные крылья.

Иешуа Прокоп лукаво подмигнул.

— Ей не терпится,— сказал он,— ей, видно, не терпится...

— К «Лойзичеку» на танцы,— опередил его Фрисляндер.

Прокоп засмеялся и стал ударять рукой в такт звукам, доносившимся сюда с крыши слабым зимним ветром.

После чего он снял со стены мою старую разбитую гитару, сделал вид, что перебирает порванные струны, и резким фальцетом и с напыщенностью, свойственной воровскому жаргону, запел дивную песню:

Гуляет силенка в мослах,  
Канай на халяву за шлях,  
И пусть заливае питье  
Фартовое наше житье.

— Потрясающе! С первого раза так ботать по фене! — громко рассмеялся Фрисляндер и фальшиво подтянул:

И хевра бузит весела,  
Бухает арак из горла,

Ура!..

Вот уж кочет пропел...

— Эту забавную песенку,— пояснил Цвак,— надев зеленые очки, с картавым хрипом поет у «Лойзичека» полоумный Нефтали Шафранек. А размалеванная бабенка играет на гармонике и горланит куплеты. Вам тоже, мастер Пернат, следует хотя бы разок сходить с нами в этот кабачок. Может, чуть позже, когда разделаемся с пуншем? Как вы думаете? Отметить ваш день рождения?

— Да-да, поторопитесь,— сказал Прокоп и щелкнул шпингалетом на окне.— На это стоит посмотреть.

Затем мы выпили горячий пунш, и каждый погрузился в свои думы.

Фрисляндер выстрегивал марионетку.

— Вы буквально отрезали нас от внешнего мира, Иешуа,— нарушил тишину Цвак.— С тех пор как закрыто окно, никто не вымолвил ни слова.

— Когда раскачивались наши пальто, я всего лишь размышлял о том, как это странно, что ветер приводит в движение безжизненные вещи,— поспешил ответить Прокоп, как бы извиняясь за свое молчание.— Это так непривычно, когда предметы, до того обычно всегда мертвые, вдруг начинают как бы оживать... Правда ведь? Однажды на безлюдной площади я увидел, как большие клочки бумаги — ветра я не чувствовал, так как находился под защитой стен дома,— в безумной ярости вихрем кружили и преследовали друг друга, как будто сами себя приговорили к смерти. Через мгновение они вроде бы успокоились, но вдруг ими снова овладела бессмысленная злоба, и в безумном бешенстве они стали бушевать, забиваться в закоулки, чтобы заново разлететься в разные стороны и наконец исчезнуть за углом.

Лишь пухлая газета не могла догнать их. Она распласталась на мостовой и вздымалась от ярости, словно в одышке, глотая с жадностью воздух.

Тогда во мне и возникла смутная догадка: что, если мы,



живые существа, тоже в конце концов чем-то похожи на такие клочки бумаги? Может быть, нас тоже несет в разные стороны невидимый загадочный «ветер» и определяет наши действия, в то время как мы, по простоте душевной, уверены, что поступаем по собственной свободной воле?

А что, если жизнь в нас не что иное, как загадочный вихрь? Тот самый ветер, о котором в Библии сказано: знаешь ли ты, откуда и куда он идет \*? И не снится ли нам порою, что мы в глубине вод находим и хватаем золотую рыбку, но ничего не происходит, кроме того, что наяву наши пальцы встречают прохладный воздух ветерка?

— Прокоп, вы слово в слово рассуждаете, как Пернат, что с вами? — спросил Цвак и подозрительно взглянул на музыканта.

— История с книгой Иббур, рассказанная раньше, — сказал Фрисляндер, — заставила Прокопа всерьез задуматься, жаль, что вы опоздали и не услышали ее.

— История с книгой?

— Собственно, история с человеком, принесшим ее, он выглядел довольно необычно. Пернат не знает, как его зовут, где он живет, чего он добивался, и несмотря на то, что его внешность бросалась в глаза, она все-таки не поддается точному описанию.

Цвак внимательно слушал.

— Это весьма странно, — помолчав, сказал он. — Может быть, незнакомец был без бороды и у него были раскосые глаза?

— Мне кажется, — ответил я, — иными словами, я... я совершенно уверен в этом. Разве вы его видели?

Актер-кукловод покачал головой:

— Мне на память приходит только Голем.

Художник Фрисляндер опустил резак:

\* Ср. с Евангелием от Иоанна: «...если Я и Сам о Себе свидетельствую, тельство Мое истинно: потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду» (8, 14).



— Голем? Я уже столько о нем слышал. Цвак, вы знаете что-нибудь о Големе?

— Кто может утверждать, что он что-то знает о Големе? — ответил Цвак и пожал плечами.— Он существовал в мире сказок, пока однажды в переулке не произошло событие, снова внезапно вызвавшее его к жизни. Какое-то время после этого каждый выдвигает свои домыслы, и слухи растут как снежный ком. Настолько раздуваются без меры, что наконец погибают в собственной недостоверности. Начало истории, говорят, восходит к семнадцатому веку. По забытым канонам Каббалы один раввин изготовил искусственного человека — так называемого Голема,— чтобы тот в качестве служки помогал ему звонить в колокола в синагоге и выполнял черную работу.

Тот не стал, однако, настоящим человеком и лишь влачил, как говорят, жалкое полусознательное существование. А жил он только в течение дня, когда раввин вкладывал ему в рот записку с магическими знаками, освобождая тайные силы вселенной.

И когда как-то вечером перед молитвой на сон грядущим раввин забыл вытащить записку изо рта Голема, тот впал в бешенство, понесся в темноте по переулку и стал крушить на своем пути что ни попадя.

Пока раввин не бросился ему навстречу и не вытащил бумажку со знаками.

И тогда истукан замятво рухнул на землю. От него ничего не осталось, кроме глиняного тела, его и сейчас еще показывают в Старо-Новой синагоге...

— Этого самого раввина пригласили однажды в замок к императору, он мог вызывать тени усопших и делать их зримыми,— вставил Прокоп.— Теперешние ученые твердят, что он пользовался для этого *Laterna magica*.

— Конечно, не бывает объяснений, каковые и по сию пору не срывали бы аплодисментов,— не дрогнув бровью, продолжал Цвак.— *Laterna magica!* Как будто его величество

император Рудольф, съевший на этом собаку, не мог с первого взгляда обнаружить весьма дешевую подделку!

Разумеется, мне неизвестно, что породило легенду о Големе, но что существует кто-то, не способный умереть, кто живет в этом квартале и прирос к нему всем своим существом, в этом я убежден. Из рода в род здесь обитали мои предки, и никто не может помнить о периодических появлениях Голема лучше, чем я!..

Цвак внезапно умолк, и по его лицу было видно, что он погружен в далекое прошлое.

Когда он, подперев голову, сидел за столом и при свете лампы его румяные юные щечки странно выделялись на фоне седой головы, я в мыслях невольно сравнил его черты с похожими на маски лицами его марионеток, которых он мне часто показывал.

Все-таки старик удивительно был на них похож!

Такое же выражение и те же самые черты лица!

Многие вещи в этом бренном мире не могут существовать друг без друга, понял я. А когда представил себе незамысловатую историю жизни Цвака, мне сразу же показалось загадочным и невероятным, что такой человек, как он, без пяти минут актер, получивший воспитание лучшее, чем его деда, вдруг вернулся к обшарпанному ящику для марионеток, чтобы снова выступать на ярмарках, чтобы принуждать тех же самых кукол, наверняка приносивших его пращуру нищенскую выручку, снова отдавать неуклюжие поклоны и разыгрывать напоказ набившие оскомину страсти.

Я понимал, что он не в силах был жить в разлуке с ними; они жили его жизнью, когда он оставил своих кукол, они превратились в его мысли, обитали в его мозгу, не давали ему передышки, пока он снова не вернулся к ним. И потому отныне он преисполнен любви к ним и с гордостью обряжает их в блестящую канитель.

— Цвак, почему бы вам не продолжить рассказ? — предложил Прокоп и вопросительно поглядел на Фрисляндера

и на меня, как бы спрашивая, не хочется ли и нам послушать.

— Не знаю, с чего начать,— неуверенно произнес старик.— История с Големом похожа на головоломку. Пернат только что сказал — он точно знает, как выглядел незнакомец, и тем не менее не смог бы его обрисовать. Примерно раз в тридцать три года в нашем переулке повторяется событие, в котором нет ничего чересчур удивительного и которое, однако, сеет ужас, каковому нет ни объяснения, ни оправдания.

Бесчисленное число раз повторялось одно и то же: совершенно неизвестный человек с безбородым желтым лицом монгольского типа, одетый в старомодный вылинявший лапсердак, появлялся со стороны Альтшюльгассе, шествовал мерным и странно спотыкающимся шагом, словно готов был в любой момент упасть, проходил через весь еврейский квартал и вдруг исчезал.

Обычно он сворачивал в переулок и скрывался.

Одни говорили, что он на своем пути описывал круг и возвращался к месту, откуда вышел,— к старинному зданию около синагоги.

Иные взбудораженные очевидцы, наоборот, повторяли, что видели, как он появился за углом. И хотя совершенно точно он шел им навстречу, его фигура, однако, становилась все меньше и наконец совсем пропадала.

Шестьдесят шесть лет назад его появление, помню, особенно сильно потрясло всех — я был еще совсем молоко-сосом; здание на Альтшюльгассе обыскали тогда от подвала до чердака.

Выяснилось, что в доме в самом деле есть комната с зарешеченным окном, но не было входа, чтобы войти в нее.

Изо всех окон, выходящих на улицу, было вывешено белье, и таким способом установили истину.

В комнату нельзя было забраться, и один мужчина спустился с крыши по веревке, чтобы заглянуть внутрь. Но едва он оказался вблизи окна, веревка оборвалась, и бедняга

раздробил себе череп о мостовую. А когда потом снова решились попытаться, все перессорились по поводу того, где находилось окно, и не стали больше пробовать.

Я встретил Голема впервые около тридцати трех лет назад.

Он шел навстречу мне по так называемому проходному двору, и мы прошли почти вплотную друг к другу.

Мне и по сию пору еще непонятно, что тогда творилось со мной. Однако не приведи Господи постоянно, изо дня в день носиться в ожидании встречи с Големом.

Но в тот момент, уверен — совершенно уверен, прежде чем я успел увидеть его, какой-то голос внутри меня громко воскликнул: Голем! И в ту же секунду кто-то, спотыкаясь, вышел из темных ворот. Незнакомец прошел мимо меня. Через мгновение навстречу мне хлынул поток бледных возбужденных людей, обрушившихся на меня с вопросами, не видел ли я его.

И когда я отвечал, то чувствовал, что язык мой не может остановиться, хотя до этого он точно к нёбу прилип.

Я был буквально ошарашен тем, что способен двигаться, и тут до меня отчетливо дошло, что я какую-то долю секунды, приходившуюся на один удар сердца, находился словно в столбняке.

Я размышлял о Големе часто и подолгу, и мне казалось, что ближе всего я к истине, если говорю — в жизни любого поколения непременно бывает такой момент, когда в мгновение ока по еврейскому кварталу распространяется психический недуг, с какой-то скрытой от нас целью поражая живые души, и, как мираж, приобретает черты существа, жившего, может быть, несколько веков назад и жаждавшего обрести плоть и кровь.

Возможно, что существо все время бродит среди нас, но мы не замечаем его. Ведь мы не слышим звука дрожащего камертона, прежде чем его не коснется палочка и он срезунирует.

Может быть, это лишь нечто такое, что напоминает ду-

ховное произведение искусства, но без внутреннего осознания,— художественное произведение, образующееся как кристалл, вырастающий из бесформенной массы, верный постоянному и неизменному закону.

Кто его знает?

Если в душные дни воздух до предела насыщен электричеством и напряжение наконец разряжается молнией, то почему невозможно, что и непрерывное сгущение одних и тех же мыслей, отравляющих атмосферу в гетто, закончится внезапным резким разрядом — душевным взрывом? Взрывом, бьющим по нашему сонному сознанию дневным светом, чтобы сотворить там, в природе — молнию, а здесь, в нас — призрак, который лицом, походкой и жестами неизбежно обнаруживается во всех без исключения как символ массового психоза, если только правильно понимать намеки загадочного языка формы.

Как некоторые явления предвещают удар молнии, так и здесь любое страшное знамение грозит вторжением этого фантома в царство деяния. Обрушившаяся штукатурка на ветхой стене принимает форму идущего человека; и в морозных узорах на оконном стекле образуются черты неподвижно застывшего лица. Чудится, что песок с чердака падает иначе, чем обычно, и внушает мнительному очевидцу подозрение, будто то незримый дух, боящийся света, швыряет в него песок и упражняется с тайным умыслом любыми способами обрести конкретные черты. Покоится ли глаз на обычной ткани или бугорках кожи, он ощущает, что им владеет непонятный дар видеть повсюду подозрительные многозначные формы, вырастающие в наших снах до гигантских размеров. И вечно проходит красной нитью через безуспешные попытки нашего сгущенного сознания прогрызть оболочку повседневности мучительная убежденность, что наша душа против воли истощает себя с единственной целью — выразить образ фантома в пластической форме.

Когда я недавно услышал Перната, утверждавшего, что

он встретил человека с безбородым лицом и раскосыми глазами, передо мной предстал Голем, каким я его однажды увидел.

Он вырос передо мной из-под земли.

И какой-то безотчетный минутный страх, что снова предстоит нечто загадочное, на миг охватил меня; такой же ужас я испытал как-то в детстве, когда первые таинственные слухи о Големе шли впереди него, как тень.

С тех пор минуло шестьдесят шесть лет — к нам домой под вечер пришел жених моей сестры, в семье должны были назначить день свадьбы.

Мы стали плавить свинец — шутки ради, — я стоял, разинув рот, и не понимал, что все это значит, — в своем бесполом ребячьем воображении я связывал это с Големом, о нем мне часто рассказывал мой дед, и мне представлялось, что дверь вот-вот распахнется и войдет незнакомец.

Моя сестра вылила из ложки расплавленный металл в чан с водой и стала потешаться надо мной — очень уж я разволновался.

Дряблыми дрожащими руками дед извлек блестящий кусок свинца и поднес его к свече. Вслед за этим всех тут же охватило волнение. Стали громко спорить, перебивая друг друга, я хотел было пробраться поближе, но меня оттолкнули.

Позже, когда я повзрослел, отец рассказал мне, что расплавленный свинец застыл в виде небольшой, но совершенно отчетливой головы — гладкой и круглой, словно отлитой в форме, — и был так похож на Голема, что все страшно испугались.

Я частенько беседовал с архивариусом Шмаей Гиллелем, охраняющим реквизит Старо-Новой синагоги, где находится глиняная фигура времен его величества императора Рудольфа. Он изучал Каббалу и считает, что эта глиняная глыба в человеческом образе, возможно, не что иное, как древ-



нее знамение, точно такое же, как и в моем случае со свиной головой. А незнакомец, бродивший здесь, мог быть плодом фантазии и вымысла средневекового раввина, *ожившего* его прежде, чем воплотить в глине. И нынче в то же самое время, когда его вылепили при сходном астрологическом положении звезд, под которыми он был сотворен, призрак возвращается, изнуренный желанием обрести плоть и кровь.

Лицом к лицу столкнулась с Големом и покойная жена Гиллея и испытала то же самое, что и я: впала в столбняк, когда таинственное существо подошло вплотную к ней.

Она говорила, что твердо убеждена: тогда ее собственная душа — отделившись от тела — с чертами странного существа на миг предстала перед ней и взглянула на самое себя.

Несмотря на ужас, охвативший ее в тот раз, она ни секунды не теряла уверенности в том, что представший перед ней мог быть только частью ее собственной души...

— Невероятно, — в задумчивости пробормотал Прокоп. Казалось, и Фрисляндер тоже весь погрузился в свои мысли.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошла старуха, принеся мне вечерами воду и все, в чем я обычно нуждался. Она поставила на пол глиняный кувшин и молча ушла.

Мы подняли глаза и увидели, как в комнате все ожило, но еще долго никто не произносил ни слова.

Как будто в дверь вместе со старухой проскользнуло новое настроение, к которому надо было только привыкнуть.

— Вот! Рыжая Розина, у нее тоже такое лицо, от него никак нельзя отделаться и наталкиваешься на него во всех углах и закоулках, — вдруг совершенно неожиданно произнес Цвак. — Эту неподвижную оскаленную ухмылку я знаю всю жизнь. Сначала у бабки, потом у матери! И неизменно то же самое лицо, вплоть до каждой черточке! То же самое имя Розина. И вечно одна воскресает в другой.

— Разве Розина не дочь Аарона Вассертрума? — спросил я.

— Ходят такие слухи, — ответил Цвак. — Но у Аарона Вассертрума хватает сыновей и дочерей, о которых ничего не известно. Как неизвестно, кто отец матери Розины и что с нею случилось. В пятнадцать лет она родила ребенка и с тех пор как в воду канула. Ее исчезновение приурочили к убийству, происшедшему из-за нее в этом доме.

Она тогда, как нынче ее дочь, заводила шашни с юнцами. Один из них еще жив — я частенько встречаю его, — только вот имя запомнил. Другие вскоре умерли, думаю, она их всех свела в могилу до срока. Вообще-то из тех времен мне памятни только отрывочные эпизоды, сохранившиеся в душе словно поблекшие картины. Так, в то время появился один недоумок, шлявшийся ночами из кабака в кабак, за пару монет он вырезал посетителям из черной бумаги силуэты. А когда напивался в стельку, впадал в неопишемую тоску и беспрестанно сквозь слезы и рыдания вырезал один и тот же тонкий девичий профиль, пока не изводил всю бумагу.

По причинам, давным-давно мною забытым, он еще мальчишкой влюбился в какую-то Розину, пожалуй, бабушку теперешней Розины. Он так горячо ее любил, что из-за этой любви повредил себе чердак.

Когда я возвращаюсь в прошлое, то никого другого не могу вспомнить, кроме бабушки теперешней Розины.

Цвак умолк и откинулся назад.

Я понимал, что рок в этом доме блуждает по кругу и возвращается к исходной точке. И перед моим взором возникла ужасная картина, свидетелем которой я однажды был, — кошка с разбитым черепом, шатаясь, ходила по кругу.

— А теперь пора браться за голову, — вдруг услышал я звучный голос художника Фрисляндера.

И он вытащил из кармана круглый чурбак и принялся за резьбу.

Мои веки словно налились свинцом от усталости, и я передвинул свое кресло туда, где было потемнее.

В чугунке бурлила вода для пунша, Иешуа Прокоп снова наполнил стаканы. В закрытое окно едва-едва доносились звуки музыки; порою они совсем смолкали, затем снова были чуть слышны, как будто ветер по дороге то терял их, то подхватывал в переулке и подбрасывал к нашему окну.

— Разве вам не хочется чокнуться и выпить с нами? — спросил меня после паузы музыкант.

Но я не ответил, мне лень было даже пальцем шевельнуть, я настолько обессилел, что у меня и в мыслях не было ворочать еще и языком.

Я думал, что сплю, таким всеобъемлющим был душевный покой, овладевший мною. И мне приходилось смотреть вприщур на сверкающий резак Фрисляндера, без устали работавшего по дереву и вырезавшего мелкие стружки, чтобы удостовериться, что я все это вижу наяву.

Из далекой дали до меня доносилось бормотание Цвака, он снова рассказывал всякие диковинные истории про марионеток и замысловатые сказки, придуманные им для кукольного театра.

Речь шла и о докторе Савиоли и о благородной даме, супруге аристократа, тайно посещавшей его в угловой студии.

И снова перед моим мысленным взором всплывало злорадное и торжествующее лицо Аарона Вассертрума.

Хотя я не мог сообщить Цваку, что тогда произошло, думалось мне — в данном случае я не это считал для себя ценным и важным. На самом деле я знал, что, попытайся я заговорить, у меня на это не хватило бы сил.

Вдруг троица за столом уставилась на меня, и Прокоп произнес довольно громко: «Он заснул», так громко, как будто спрашивал.

Они продолжали беседу приглушенными голосами, и до меня дошло, что говорили обо мне.

Резак Фрисляндера плясал во все стороны и лезвием ло-

вил свет, падающий от лампы, и отраженный луч слепил мне глаза.

Под сурдинку было произнесено слово «сумасшедший», и я прислушался к круговой беседе.

— Никогда не следует при Пернате касаться таких историй, как история о Големе,— с укором сказал Прокоп.— Мы сидели молча и ни о чем не спрашивали, когда он до этого рассказывал о книге Иббур. Могу спорить, ему это приснилось.

— Вы совершенно правы.— Цвак согласно кивнул головой.— Представьте, что кто-то войдет с зажженной свечой в пропыленный чулан, сверху донизу набитый старым тряпьем, а на полу по щиколотку сухой трут прошлого: лишь одно неосторожное движение — и пожар уничтожит все. Так и с Пернатом.

— Перната долго держали в сумасшедшем доме? Жаль его, как-никак, а ему, поди, всего лишь сорок стукнуло,— сказал Фрисляндер.

— Не знаю и даже не представляю, откуда он родом и чем прежде занимался. В любом случае выглядит он как старый французский аристократ со стройной фигурой и эспаньолкой. Давным-давно один хорошо знакомый мне старый врач попросил меня, чтобы я помог подыскать ему небольшую комнатку здесь, в переулке, где бы никто не любопытничал и не докучал ему вопросами о прошлом.— Цвак снова кинул озабоченный взгляд в мою сторону.— С тех пор он живет здесь, реставрирует антикварные вещи и режет камеи, чем и сколотил себе небольшое состояние. Ему повезло, что он совсем позабыл про то, что связано с его недугом. Только Боже упаси вас спросить как-нибудь его о вещах, способных воскресить в его памяти прошлое. Старый врач часто пытался убедить меня в этом! Знаете, Цвак, вечно твердил он, мы обладаем одним весьма определенным методом: мы с большим трудом замуровали его болезнь — я называю это так,— так обносят оградой источник

злосчастья, потому что с ним связаны печальные воспоминания.

Слова актера-кукловода обрушились на меня, как нож убийцы на незащитное животное, и стиснули мне сердце грубыми, жесткими руками.

Давно меня грызла глухая тоска — я чувствовал себя так, словно кто-то держал меня в плену, словно я прошагал большую часть жизни над пропастью, как сомнамбула. И мне никогда не удавалось докопаться до источника этого ощущения.

Теперь ключ к разгадке тайны был у меня в руках, и это открытие вызывало в душе невыносимую боль и жгло, как свежая рана.

Мое болезненное неприятие воспоминаний о прошлых событиях и, кроме того, странный, время от времени повторяющийся сон, что я заперт в доме с вереницей комнат без дверей, пугающий отказ моей памяти касаться вещей, связанных с моей молодостью, — все это сразу нашло свое страшное объяснение: я был сумасшедшим, которого лечили гипнозом, от меня заперли «комнату», соединенную с остальными «покоюми» моего мозга, и я был вышвырнут как безродная душа в чужую мне жизнь.

И не было никакой надежды когда-нибудь вернуть утраченную память!

Я понимал, что скрытая пружина моих мыслей и поступков принадлежала другой жизни, исчезнувшей из памяти, и никогда мне не удастся узнать о ней: я сорванный цветок, ветка, привитая к чужому стволу. И найди я вход в ту запертую «комнату», не попаду ли я снова в руки призраков, загнанных туда?!

История о Големе, час назад рассказанная Цваком, не давала мне покоя, и я внезапно осознал роковую таинственную связь между мифической комнатой без двери, в которой мог жить тот незнакомец, и моим вещим сном.

Да! В случае со мной «веревка оборвалась» тоже, едва я

попытался заглянуть в зарешеченное окно собственной души.

Странная эта связь становилась мне все понятней и воспринималась мной с невыразимым ужасом.

Я понял — здесь вещи, непостижимо слитые друг с другом, и несутся они как слепые лошади, не ведающие дороги.

Так и в гетто: комната, покои, куда никто не может найти входа, призрачное существо, живущее там и изредка появляющееся в переулке, чтобы наводить на людей панический страх!

Фрисляндер все еще вырезал голову, и дерево хрустело под лезвием резака.

Слыша это, я испытывал боль, ожидая, скоро ли это закончится.

Голова в руках художника поворачивалась в разные стороны, и казалось, что она это делает сознательно, заглядывая во все углы. Потом ее глаза уставились на меня, довольные тем, что наконец нашли то, чего искали.

Я тоже больше не мог оторвать от нее взгляда и пристально всматривался в деревянный лик.

Несколько секунд казалось, что резак художника что-то робко ищет, потом решительно провел линию, и сразу же черты деревянной головы ожили в своей непонятной жути.

Я узнал желтое лицо незнакомца, принесшего мне книгу.

Потом я уже ничего не различал, морок длился только секунду, и я почувствовал, что сердце мое остановилось и трепещет от страха.

Однако в сознании остался след этого лица — как в прошлый раз.

*Это был я сам, и я лежал на коленях Фрисляндера, озираясь по сторонам.*

Мои глаза шарили по комнате, а чужая рука приводила в движение мою голову.

Затем я тут же увидел лицо взволнованного Цвака и услышал его слова:

— Боже мой, да это же Голем!

Короткая схватка — у Фрисляндера пытались силой забрать резную голову, но он отбивался как мог и, смеясь, воскликнул:

— Ну что вам надо, ведь башка совсем не удалась!

Он вырвался, открыл окно и выбросил голову на улицу.

В это время я потерял сознание и погрузился в крошечную тьму, сквозь нее была протянута сверкающая золотом канитель. И когда я, как мне показалось, спустя долгое время пришел в себя, только тут я услышал, как деревяшка со стуком упала на мостовую.

— Вы так крепко спите, что вас и пушками не разбудить, — обратился ко мне Иешуа Прокоп. — Междусобойчик окончен, ваш поезд ушел.

Горечь и боль оттого, что я до этого услышал о себе, снова овладели мною, я пытался крикнуть, что мне ничего не приснилось, когда я рассказывал им о книге Иббур, и что я могу ее вытащить из шкапулки и показать им.

Но меня никто не хотел слушать, и ничто не могло нарушить настроение общего подъема, овладевшего моими гостями.

Цвак насильно напялил на меня пальто и воскликнул:

— Скорей же в «Лойзичек», мастер Пернат, вам пора встряхнуться!

## Ночь

Я послушно дал Цваку свести себя с лестницы.

Все ощутимей и ощутимей становился запах дыма, проникшего с улицы в дом. Иешуа Прокоп и Фрисляндер шли в нескольких шагах впереди нас и о чем-то рассуждали на улице перед воротами.

— Провалилась сквозь водосточную решетку. Черт бы ее побрал.

Мы вышли на улицу, и я увидел, как Прокоп наклонился и стал искать голову марионетки.

— Вот уж обрадуюсь, если не найдешь эту дурацкую башку,— пробурчал Фрисляндер. Он остановился у стены, и на миг его лицо ярко осветилось и снова растворилось в темноте, когда он, чиркнув спичкой, раскуривал свою носогрейку.

Прокоп предостерегающе взмахнул рукой и нагнулся еще ниже. Колени его почти касались мостовой.

— Тише! Неужели ничего не слышите?

Мы подошли к нему. Он молча показал на водосточную решетку и, вслушиваясь, приложил ладонь к уху. С минуту мы стояли не двигаясь и прислушиваясь к звукам из колодца. Тишина.

— Ну что там еще? — прошептал наконец актер-кукловод, но Прокоп тут же схватил его за руку.

Всего мгновение — не дольше одного удара сердца — мне почудилось, что там, внизу, кто-то стучит рукой в чугунную заглушку — еле слышно. Когда через секунду я по-



думал об этом, все смолкло; лишь в груди продолжало звучать эхо воспоминания, постепенно переходившее в смутное чувство страха.

Шаги, прозвучавшие в переулке, спугнули это ощущение.

— Пошли, чего здесь стоять! — позвал Фрисляндер.

Мы двинулись мимо домов по переулку.

За нами с недовольным видом следовал Прокоп.

— Голову даю на отсечение, что там, под землей, кто-то вопил как резаный!

Никто из нас не ответил ему, но я чувствовал, что наши языки сковал какой-то непонятный смутный страх.

Вскоре мы остановились перед кабаком у окна с красными занавесками.

## САЛОН ЛОЙЗИЧЕК

Сиводня большой концерт —

было написано на картоне, края которого облепили выцветшие фотографии каких-то бабенок.

Прежде чем Цвак успел взяться за щеколду, входная дверь ушла внутрь, и какой-то увалень с напوماженными черными волосами, в зеленом шелковом галстуке на голой шее без воротничка и фракном жилете, украшенном гирляндой свинных зубов, встретил нас низким поклоном:

— Э-э, э-э, какой льюди... Пан Шафранек, бистро туш! — бросил он через плечо в битком набитый зал, с жаром приглашая нас войти.

Ему ответило шумное бренчание, словно по струнам рояля пробежала крыса.

— Э-э, какой льюди, какой льюди. Вот это д'я-а, — без конца бормотал себе под нос увалень, помогая нам избавиться от пальто.

— Д'я-а, д'я-а, сиводня у меня вся высший знать города, — ответил он Фрисляндеру, когда тот удивленно посмотрел



на подмостки, отделенные от зала балюстрадой и двумя ступеньками, где у задника стояли двое роскошных молодых людей в цилиндрах и фраках.

Клубы едкого табачного дыма стелились над столами, позади них у стены деревянные скамьи были полностью заняты оборванцами: здесь были босоногие, патлатые и грязные продажные красучки с туго налитыми грудями, едва прикрытыми платками жуткого цвета, сутенеры в синих военных фуражках с сигаретой за ухом, скототорговцы с волосатыми кулаками и мясистыми пальцами, немым языком жестов сообщавшие друг другу гадости, разгульные отдыхающие кельнеры с хамоватыми глазами и рябые приказчики в клетчатых штанах.

— Я поставлю вам кругом каширму, чтобы вас прекрасно не беспокоил, — прокряхтел тучный голос увальня, неторопливо вытянувшего ширму. На ней были наклеены низко-рослые танцующие китайцы. Увальень поставил ширму перед столом, за который мы уселись.

Отрывистые звуки арфы прервали разноголосицу в зале. Наступила секунда ритмической паузы.

Воцарилась мертвая тишина, словно все затаили дыхание.

Внезапно в трубках железных ламп с удивительной ясностью стало слышно тупое шипение плоского сердцевидного пламени, выдуваемого из суженных на конце стеклянных губ. Затем музыка перекрыла этот шипящий шорох и поглотила его.

И тут перед моим взором из табачного дыма выплыли две странные фигуры, как будто они только что появились здесь.

С длинной волнистой седой бородой пророка, в черной шелковой камилавке — какую носили старейшины еврейских семейств — на лысой голове, со слепыми молочно-голубыми остекленевшими глазами, неподвижно уставившимися в угол, там сидел старец, беззвучно шевеливший губами и проводивший по струнам арфы, словно ястребиными



когтями, костлявыми перстами. Рядом с ним в засаленном черном платье из тафты, с крестом из черного бисера на шее и такими же украшениями на руках — символом лживой мещанской морали — сидела обрюзгшая бабенка с гармошкой на коленях.

Из инструментов вырывались визгливые прерывистые звуки, потом мелодия стихла и перешла в аккомпанемент.

Старец сделал два-три вдоха и распахнул рот так, что можно было увидеть почерневшие корни сгнивших зубов. Из его груди лениво выполз громкий бас, сопровождаемый характерным иудейским хрипом:

Зве-е-зды люблю си-и-и-не-а-а-лы-е...

«Три-та-та» — между тем пронзительно стрекотнула бабенка и тут же капризно поджала губы, будто и так уже слишком много сказала.

Звезды люблю си-и-не-а-лые,  
Да и рогалики жалую.

«Три-та-та».

Красная борода, Зеленая борода,  
До звездочек печеных охоча наша глотка...

«Три-та-та».

Появились первые танцующие пары.

— Это песня про «хомециген борху»\*, — с улыбкой растолковал нам актер-кукловод и стал тихо ударять в такт музыке оловянной ложкой, прикрепленной почему-то цепочкой к столу. — Лет сто назад или, пожалуй, и того больше два пекаря-подмастерья, Красная борода и Зеленая борода, как-то вечером под «шаббес гагодель»\*\* отравили хлеб — звезды и рогалики, чтобы смерть собрала в еврейском квартале урожай более щедрый, чем прежде; только «мешорес» — причетник в общине — благодаря озарению, ниспосланному свыше, вовремя предупредил убийство и сдал обоих преступников в полицию. В честь этого спасения

\* Букв.: отравленная молитва (др.-евр.).

\*\* Предпасхальная суббота (др.-евр.).

от смерти «ламдоним»\* и «бохерлех»\*\* сочинили тогда эту дивную песенку, каковую мы нынче и слушаем как бордельную кадрили... «Три-та-та».

— Звезды люблю сине-алые... — все глуше и настырнее хрипел старец.

Неожиданно мелодия сбилась с темпа и мало-помалу перешла в ритм чешского «шляпака» — скользящего медленного танца, когда парочки доверчиво прижимаются друг к другу влажными щеками.

— Хорошо! Bravo! Ах, вот, ловьи, хоп, хоп! — крикнул с подмостков арфисту стройный молодой кавалер во фраке и с моноклем в глазу, вытащил из жилетного кармана серебряный кругляш и бросил его старцу. Но ничего не вышло. Я увидел, как кругляш сверкнул над стиснутыми вплотную в танцевальной сутолоке парами и тут же исчез. Какой-то бродяга — его лицо показалось мне очень знакомым, думаю, это был тот самый плут, что недавно стоял во время ливня рядом с Хароузекком, — вытянул руку, до этого обнимавшую партнершу и лежавшую на ее платке за спиной. С обезьяньей ловкостью, не нарушая музыкального такта, он схватил монету на лету, и та исчезла. Лицо молодчика оставалось невозмутимым, только две-три пары поблизости беззвучно ощерились.

— Судя по сноровке, поди, ловкач из «Батальона», — рассмеялся Цвак.

— Видно, мастер Пернат никогда еще не слышал о «Батальоне», — с подчеркнутой поспешностью вступил в разговор Фрисляндер и украдкой подмигнул Цваку, чтобы я не заметил. Я хорошо понимал: они считали меня больным. Так было и до этого в моей камерке. Им хотелось развеселить меня. И Цвак непременно что-нибудь расскажет. Что-то в этом роде.

Добрый старик взглянул на меня с таким сочувствием,

\* Музыканты (*др.-евр. арго*). Название идет от имени родоначальника скотоводов, музыкантов и кузнецов Ламеха, праправнука Каина.

\*\* Талмудисты, знающие воровской жаргон (*др.-евр.*).

что горячая волна от сердца хлынула к моим глазам. Если б он знал, как я страдал от его сочувствия!

Я пропустил мимо ушей предисловие, с которого актер-кукловод начал свой рассказ. У меня было такое ощущение, словно я медленно истекал кровью. Я коченел от холода, как тогда, когда моя деревянная голова лежала на коленях Фрисляндера. После чего я вдруг пришел в себя в середине рассказа, произведшего на меня странное впечатление, как будто это был безжизненный отрывок из хрестоматии.

Цвак начал:

— *Рассказ об ученом-юристе докторе Гульберте и его «Батальоне».* Ну, что мне вам сказать? Лицо его было сплошь усеяно бородавками, ноги скрючены, как у таксы. Уже в юности он знать ничего не хотел, кроме науки, сухой изнурительной науки. Чтобы содержать еще свою больную мать, он зарабатывал уроками. Как выглядят зеленые луга, пастбища, косогоры, покрытые цветами, и леса, он, думаю, знал только из книг. А как редко оживляет солнечный луч мрачные переулки Праги, вы знаете сами.

Докторскую диссертацию он защитил с отличием, что вполне естественно.

Ну а со временем он стал знаменитым юристом. Настолько знаменитым, что все — от судьи до старого адвоката — шли к нему за консультацией, если в чем-то сомневались. Притом жил он, как нищий, в чердачной конуре, окном выходящей на Тынское подворье.

Так прожурчал год за годом, и слава доктора Гульберта как научного светила постепенно вошла в поговорку по городам и весям. Что это мог быть человек, открытый нежным сердечным чувствам, тем более его виски уже тронула седина, никто и не предполагал. А что он может говорить о чем-то другом, кроме юриспруденции, в такое никто не мог поверить. Однако как раз в таком одиноком сердце и рождается самая пылкая страсть.

Когда доктор Гульберт достиг вершины, представляв-

шейся ему, вероятно, самой заветной со времен студенчества, когда его величество император пожаловал ему из Вены титул *Rector magnificus* \* нашего университета, тогда-то как притча во языцех стала передаваться новость — он влюбился в писаную красавицу из бедной, но благородной семьи.

И с тех пор в самом деле казалось, что доктор Гульберт поймал свою жар-птицу. И хотя его брак остался бездетным, он носил свою молодую жену на руках, и высшей радостью для него было исполнять любое ее желание.

Пребывая в счастье, он никогда не забывал, в отличие от многих других, как такое счастье достается страждущим ближним. «Господь насытил мою страсть,— сказал он однажды,— он открыл мне в вешем сне истину, сиявшую передо мной с детства,— он подарил мне любовь самого верного существа на земле. И теперь мне хочется, чтобы ответ этого счастья падал и на других, насколько это будет в моих силах».

И так вышло, что он стал заботиться об одном бедном студенте как о родном сыне. Возможно, потому что вспоминал о своей нелегкой юности, когда никто не поддерживал его. Но дело, представляющееся поначалу добрым и благородным, впоследствии оказывается делом, достойным проклятия, потому что не всегда человек способен отличить ядовитые семена от целебных. Так получилось и здесь. Из деятельного соучастия доктора Гульберта взошли ростки мучительного страдания для него самого.

Вскоре молодая жена воспылала страстью к студенту, и жестокий рок распорядился так, чтобы именно в тот момент, когда его не ожидали, ректор пришел домой, чтобы в знак своей любви удивить жену букетом роз — подарком ко дню рождения, и застал ее врасплох в объятиях того, кого он так щедро облагодетельствовал.

\* Почетный титул ректора университета (лат.).



Говорят, лазоревые цветочки Богоматери навсегда теряют свою окраску, если блеклый сернистый цвет молнии, предвещающей бурю с градом, вдруг упадет на них. Несомненно, душа старого человека навсегда ослепла в тот день, когда его счастье разбилось вдребезги. В тот же вечер он, до сих пор не знавший, что такое разгул, сидел в «Лойзичеке» пьяный в дым от сивухи. И «Лойзичек» стал для него тайным убежищем на всю его оставшуюся жизнь. Летом он спал где-нибудь на свалках новостройки, зимой здесь, на деревянной скамье.

Не сказав ему ни слова, за ним оставили звание профессора и доктора права. Ни у кого не хватало мужества упрекнуть его, когда-то знаменитого ученого-юриста, за скандальный образ жизни.

Постепенно вокруг него стали собираться темные личности, жившие в еврейском квартале, и тогда-то было основано странное общество, носящее и поныне название «Батальон».

Обширные знания законов, которыми владел доктор Гульберт, стали защитой для тех, с кого полиция не спускала глаз. Если среди них находился какой-нибудь бывший узник, умиравший с голоду, доктор Гульберт посылал его в чем мать родила на рынок, что в Старом городе, и служба так называемой «Рыбной банки» выдавала ему одежду. Вышлют из города бездомную проститутку, ее с ходу выдают замуж за бродягу, стоявшего на учете в участке, и она уже считается постоянно проживающей в городе.

Доктор Гульберт знал любой выход из сотни подобных положений, и в этой игре карты полиции всегда были биты. Все, что эти отщепенцы человеческого общества «зарабатывали», шло до последнего грошика в общую кассу, из какой выплачивалась нужная для жизни сумма. Никто ни разу не позволил себе утаить даже самую малую толику выручки. Возможно, благодаря такой железной дисциплине и появилось название «Батальон».

Каждый год первого декабря, когда отмечалась годовщина несчастья, разбившего жизнь старого человека, в «Лойзичке» ночью происходило особое торжество. Сюда битком набивались бродяги, нищие, сутенеры и шлюхи, пьяницы и тряпичники. И царило здесь полное безмолвие, как во время литургии. А потом доктор Гульберт, стоя в углу, где сейчас расположились оба музыканта, прямо под картиной, изображавшей коронацию его величества императора, рассказывал им историю своей жизни: как он вырвался наверх, получив звание доктора и став позднее *Rector magnificus*. Едва он начинал рассказывать, как с букетом роз вошел в комнату своей молодой жены, чтобы поздравить ее с днем рождения и напомнить о том часе, когда он предложил ей руку и сердце и она стала его нареченной невестой, — всякий раз голос у него срывался и, плача, он падал на стул. Время от времени кто-нибудь из беспутных девиц робко и украдкой, чтобы никто не заметил, вкладывал ему в руку полуувядший цветок. После чего все слушатели долго стояли не шелохнувшись. К слезам эти люди были глухи, но они стояли потупив глаза, в своих обносках, не зная куда девать руки.

Однажды утром доктора Гульберта нашли мертвым на скамейке на берегу Влтавы. Думаю, он замерз от холода.

Его похороны до сих пор у меня перед глазами. «Батальон» сбился с ног, стараясь как можно пышнее устроить ему последние проводы.

Впереди при полном параде шел университетский педель \*: в руках пурпурная подушка с золотой цепью на ней, а за катафалком бесконечной колонной тянулся «Батальон», босоногий, грязный, оборванный и обкромсанный. Один из бродяг продал с себя последнее и шел так — обмотав газетами тело, руки и ноги, перевязав их бечевкой.

Так ему воздали последние почести.

\* Надзиратель за студентами в высших учебных заведениях в дореволюционной России и Европе.

На загородном кладбище на его могиле стоит белый камень, в нем высечены три фигуры — Спаситель, распятый между двумя ворами. Ваятель неизвестен. Ходят слухи, что памятник поставила жена доктора Гульберта.

Но в завещании умершего юриста было предусмотрено, что каждый в «Батальоне» после смерти доктора Гульберта получает даровой суп в «Лойзичеке»; вот для этого и прикрепили ложки цепочкой к столу, а выдолбленные углубления в столешницах служат тарелками. В двенадцать часов приходит кельнерша и наливает в них баланду из огромного жестяного насоса. И если кто-то из посетителей не может доказать, что он член «Батальона», она насосом вытягивает похлебку обратно.

С этого стола остроумный обычай обошел весь мир.

Шум и суматоха в зале пробудили меня от летаргического сна. Последние слова, сказанные Цваком, еще звучали в моем мозгу. Я еще видел, как он двигал руками, объясняя действие насоса, затем перед моими глазами возникли картины, пронесившиеся с такой автоматической быстротой и тем не менее с такой таинственной ясностью, что моментами я напроочь забывал о самом себе и мне чудилось, что я стал колесиком в живом часовом механизме.

В зале негде было яблоку упасть. Вверху на подмостках — дюжина господ в черных фраках. Белоснежные манжеты, сверкающие перстни. Драгунский мундир с аксельбантами. У задника дамская шляпа со страусовыми перьями семужного отлива. Сквозь балясины балюстрады, гримасничая, пялил глаза Лойза. Я заметил, что он едва держится на ногах. Яромир был тут же — уставившись в потолок, он плотно прижался к стене, как будто невидимая рука вдавила его в нее.

Внезапно пары оборвали танец: должно быть, кабатчик крикнул им что-то, и они испугались. Музыка продолжала играть, но уже тише, робкие звуки еле трепетали. Это ясно

было слышно. Но лицо кабатчика светилось неистовым злорадством.

На пороге сразу возникает комиссар уголовной полиции в мундире. Он простирает руки в стороны, чтобы никто не ускользнул. За его спиной стоит полицейский.

— Значит, все-таки пляшете? Плюете на указы? Я прикончу вашу разлюли-малину. Хозяин, со мной! Остальные — в участок, живо!

Это звучит как приказ.

Увалень не произносит ни единого слова, но злорадная ухмылка не сходит с его лица.

Она только становится упрямее.

Гармоника захлебнулась, издавая свистящие звуки.

Смолкает испуганно и арфа.

Внезапно все лица повертываются в одну сторону — все выжидающе смотрят на подмости.

И тогда представительная фигура в черном фраке шагает с подмостков в зал через две ступеньки и не спеша направляется к комиссару.

Глаза полицейского зачарованно смотрят на лакированные ботинки аристократа.

Кавалер остановился в метре от комиссара, ленивым взглядом окинул его с головы до ног и снова воззрелся на его физиономию.

Прочие молодые аристократы на подмостках облокотились на перила балюстрады и прыскают от смеха в свои шелковые носовые платки.

Драгунский капитан, втиснув в глаз золотую монету, выплевывает окурок на голову стоящей внизу девицы.

Побледневший комиссар надолго вперил свой взгляд в жемчужную булавку на груди аристократа.

Он не в силах выдержать равнодушных глаз на этом гладко выбритом каменном лице с крючковатым носом.

Это лишает его душевного равновесия. Просто уничтожает.

Мертвая тишина становится невыносимой.

— Точно статуя рыцаря, покоящегося со сложенными руками в каменной гробнице готического храма,— шепчет Фрисляндер, взглянув на кавалера.

Аристократ первым нарушает молчание:

— Э-э, гм...— Он передразнивает кабатчика: — Д'я-а, д'я-а, какой льюди, сразу видно...

Громкое улюлюканье потрясает зал так, что дребезжат стаканы. Схватясь за животы, бродяги заходятся от хохота. Одна бутылка летит в стену и разбивается вдребезги. Увалень кабатчик благоговейно блеет:

— Его превосходительство светлейший князь Ферри Атенштедт...

Князь протянул комиссару полиции визитную карточку. Получив ее, бедняга берет под козырек и, сдвинув пятки, шелкает каблуками.

Снова наступает тишина. Толпа бродяг, затаив дыхание, ждет, что будет дальше.

Кавалер снова произносит:

— Дамы и господа, которых вы здесь лицезрите всех вместе, э-э, мои дорогие гости.— Его светлость небрежным жестом показывает на сборище оборванцев.— Желаете, господин комиссар, э-э, быть представленным?

Комиссар с деланным смехом отказывается, что-то лепечет смущенно о «проклятом служебном долге» и, собравшись с духом, наконец отвечает:

— Вижу, у вас все в порядке.

Драгунский капитан оживляется — он спешит к дамской шляпе со страусовыми перьями и в тот же миг под ликующие возгласы молодых аристократов за руку вытаскивает в зал Розину.

Девушку шатает от выпитого вина, глаза ее закрыты. Огромная роскошная шляпа съезжает набекрень, на Розине ничего нет, кроме длинных розовых чулок и — мужского фрака, надетого прямо на голое тело.

Взмах рукой, и в бешеном темпе грохочет музыка — «три-та-та, три-та-та» — и сметает клокочущий вой, издаваемый у другой стены Яромиром, увидевшим Розину.

Мы собираемся уходить. Цвак зовет кельнершу.

Его голос тонет в общем гвалте.

Словно в опиумном дурмане передо мной возникают фантастические сцены.

Капитан обнимает полуголую Розину и медленно кружит ее в танце.

Толпа почтительно расступилась.

Затем по скамьям шелестит: «Лойзичек, Лойзичек», шеи вытягиваются, к танцующей паре присоединяется вторая, еще более странная. Парень в розовом трико, похожий на женщину, с длинными до плеч белокуроыми волосами, с крашенными, как у проститутки, губами и лицом, потупясь в кокетливом смущении, томно льнет к груди князя Атенштедта.

Арфа исторгает сладкие звуки вальса.

Дикое отвращение к жизни сдавливает мне горло.

Мой взгляд в испуге натывается на дверь — отвернувшись от всех, чтобы ничего не видеть, там стоит комиссар и торопливо перешептывается с полицейским, что-то прячущим за спиной. Похоже, звякают наручники.

Оба посматривают на рябого Лойзу, на секунду пытающегося скрыться, а затем застывающего на месте в столбняке с бледным и искаженным от страха лицом.

Тут же в моей памяти вспыхивает и гаснет картина: Прокоп наклоняется, прислушиваясь, над водостоком, как я это видел час назад, и из-под земли доносится пронзительный предсмертный вопль.

Я хочу закричать, но не могу. Ледяные пальцы проникают в мой рот и придавливают к небу язык, я не в силах произнести ни слова.

Пальцы мне не видны, я знаю, что они незримы, и тем

не менее ощущаю их телесность.

И мне становится ясно: пальцы принадлежат таинственной руке, отдавшей мне в моей каморке на Ханпасгассе книгу Иббур.

— Воды, воды! — слышу я рядом голос Цвака. Мне поднимают голову, и пламя свечи освещает мои зрачки.

— Доставить домой, вызвать врача, архивариус Гиллель знает толк в таких вещах — несите к нему! — шепотом даются советы.

Затем я, как покойник, неподвижно лежу на носилках, и Прокоп с Фрисляндером уносят меня.

## Бодрствование

Опередив нас, Цвак взбежал по лестнице, и я услышал, как Мириам, дочь архивариуса Гиллея, в испуге выпрашивала его о чем-то, а он старался ее успокоить.

Я не пытался подслушивать, о чем они говорили, и больше догадывался, нежели понимал, слова Цвака о том, что у меня был приступ и они пришли с просьбой оказать мне помощь и привести меня в чувство.

Я все еще не в силах был пошевелиться, и невидимые пальцы продолжали сдавливать мой язык, но мозг у меня работал ясно и четко, а чувство страха исчезло. Я хорошо знал, где нахожусь и что со мной произошло. И ни разу мне не показалось странным, что меня, как мертвеца, положили на носилки в комнате Шмаи Гиллея и оставили одного.

Тихое умиротворение переполняло меня, такое испытываешь, возвращаясь домой после долгого путешествия.

В комнате царил сумрак. Крестовидные оконные рамы высились расплывчатыми контурами в тускло освещаемой дымке, мерцавшей из переулка.

Все мне казалось само собой разумеющимся, и я не удивился ни тому, что в комнату вошел Гиллель с еврейским семисвечным праздничным канделябром, зажигаемым по субботам, ни тому, что он невозмутимо сказал мне «добрый вечер», словно ждал, что я приду.

Пока я все это время жил в доме, я никогда не приглядывался к Гиллелю, несмотря на то что мы постоянно



встречались раза три-четыре в неделю на лестничной площадке. И вдруг я обратил внимание на него, когда он расхаживал, расставляя на комодке вещи по своим местам и наконец засветя горевшим канделябром второй семисвечник.

Мне бросилось в глаза, как он пропорционально сложен и какие у него тонкие черты лица, увенчанного высоким выпуклым челом.

При свечах я видел, что ему могло быть не больше лет, чем мне,— от силы лет сорок пять.

— Ты пришел немного раньше, чем я предполагал,— сказал он через минуту,— иначе бы я уже засветил огонь.— Он показал на оба канделябра, подошел к носилкам и направил взгляд своих глубоко посаженных глаз на того, как мне показалось, кто стоял у меня в головах или склонился надо мной, но кого я не мог увидеть. При этом он зашевелил губами и беззвучно произнес что-то.

Тут же незримые пальцы освободили мой язык, а столбняк прошел. Я воспрянул духом и оглянулся: кроме меня и Шмаи Гиллея, в комнате никого не было.

Значит, его «ты» и замечание о том, что он ждал моего прихода, относились только ко мне?!

Поразили меня не эти два обстоятельства, а то, что я даже не был в состоянии хоть чуточку удивиться.

Видимо, Гиллель разгадал ход моих рассуждений, поскольку приветливо улыбнулся, помог мне подняться с носилок и, показав рукой на кресло, произнес:

— Здесь тоже нет ничего удивительного. Человека пугают только призрачные вещи — «кишуф» \*; жизнь раздражает и жжет как власяница, но солнечные лучи горнего мира теплы и милосердны.

Я промолчал, ибо не нашелся, что сказать. И он, казалось, не ждал ответа, сел напротив меня и спокойно продолжал:

\* Колдовство, магия (*др.-евр.*).



— Даже серебряное зеркало, обладай оно чувствами, испытывало бы одну боль при полировке. Но, став гладким и блестящим, оно заново отражает все, что попадает в него, без горя и забот... Хорошо человеку,— добавил он чуть слышно,— когда он может сказать о себе — я отполирован.

На секунду он погрузился в раздумье, и я слышал, как он бормочет по-еврейски:

— *Лишуосхо кивиси, Адошэм \**.

Затем его голос вновь ясно дошел до моего слуха:

— Ты пришел ко мне, погруженный в глубокий сон, и я тебя разбудил. Псалом Давида гласит:

*«Тогда я сказал себе: теперь я начинаю; десница Всевышнего сотворила это изменение» \*\*.*

Восстав со своего ложа, человек воображает, будто стряхнул с себя сон, и не знает, что пал жертвой своих ощущений и стал добычей нового, более глубокого сна, чем тот, от которого он только что очнулся. Есть лишь одно истинное бодрствование, и оно то, к которому ты отныне приблизился. Возгласи людям об этом, и они скажут, что ты болен, ибо не поймут тебя. Посему бессмысленно и жестоко сообщать им такое.

*«Ты как наводнение уносишь их;*

*они — как сон,*

*как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет,*

*вечером подсекается и засыхает» \*\*\*.*

«Кем был незнакомец, пришедший ко мне в каморку и принесший книгу Иббур? Во сне или наяву я видел его?» —

\* «На помощь Твою надеюсь, Господи» (Бытие, 49, 18).

\*\* В русском каноническом тексте Псалтири эта фраза звучит иначе: «И сказал я: «Вот горе мое — изменение десницы Всевышнего» (76, 11).

\*\*\* Псалом 89, 6.

пытался я спросить, но Гиллель ответил мне прежде, чем я успел облечь свои мысли в слова:

— Допустим, человек, который пришел к тебе и которого ты называешь Големом, символизирует пробуждение мертвых через сокровенную жизнь духа. Любая вещь на земле не что иное, как вечный символ, воплощенный в прахе!

Как появляется мысль в твоих глазах? Любая форма, зримая тобою, познается глазами. Все, что образует сгусток формы, прежде было призраком...

Я почувствовал, как все идеи, до сих пор неподвижно закрепленные в моем мозгу, сорвало с якоря и унесло в открытое море, подобно кораблям без кормила.

Гиллель спокойно продолжал:

— Однажды проснувшийся никогда не умрет. Сон и смерть единосущны.

«...никогда не умрет?» — пронзила меня тупая боль.

— Две стези бегут рядом: дорога жизни и дорога смерти. Ты взял книгу Иббур и прочел ее. Душа твоя зачала от духа жизни,— доносился до меня голос Гиллеля.

«Гиллель, Гиллель, позволь мне идти той дорогой, которой идут все — дорогой смерти!» — неистово кричало все во мне.

Лицо Шмаи Гиллеля стало каменно-суровым.

— Люди никуда не идут ни дорогой жизни, ни дорогой смерти. Их несет, как мякину в бурю. В Талмуде сказано: «Прежде чем сотворить мир, Господь поставил перед каждым человеком зеркало, в нем они увидели духовные страсти бытия и блаженство, даруемое после них. Одни приняли на себя муки, другие отказались от них. И тогда Всевышний вычеркнул последних из книги жизни». Но ты идешь одной дорогой и выбрал ее по своей воле, хотя даже и не догадываешься об этом: ты призван самим собой. Не печалуйся: мало-помалу приходит знание, приходит и память. *Знание и память — единосущны.*

Дружеский сострадательный тон, с каким Гиллель завер-

шил свою речь, пролил бальзам на мою душу, и я почувствовал себя в безопасности, точно больной ребенок, узнавший, что его отец рядом с ним.

Я поднял глаза и увидел, что в комнате появилось сразу несколько человек, окруживших нас: одни в белых саванах, какие носили древние раввины, другие в треуголках и туфлях с серебряными пряжками. Но Гиллель провел рукой по моим глазам, и комната снова опустела.

Тогда он проводил меня до лестницы и дал зажженную свечу, чтобы мне не добираться до своей каморки в темноте.

Я снова лежал в своей постели и пытался заснуть, но безмятежный сон не приходил, и я вместо этого пребывал в странном состоянии, которое не было ни грезами, ни сном, ни бодрствованием.

Я погасил свечу, но тем не менее в комнате было так светло, что я легко мог различать четкие контуры любой вещи. При этом на душе был полный покой, и меня не мучила смутная щемящая тоска, изводившая меня, когда я находился в подобном настроении.

Ни разу в жизни мой мозг не работал так ясно и четко, как теперь. Ритм бодрости проходил по моим нервам и строил мысли плечом к плечу, как войско, ждавшее лишь моего приказа.

Стоило мне только вызвать его, и оно выступит передо мной и выполнит любое мое желание.

Мне припомнилась камея, которую я пытался вырезать на прошлой неделе из авантюрина, но безуспешно, поскольку слишком рассеянные переливы блесков в минерале никак не желали совпасть с чертами лица, увиденного мною в воображении, и я мгновенно схватил образ и уже хорошо знал, как надо вести штихель, чтобы овладеть структурой каменной массы.

Бывший раб орды фантастических картин и видений, в

которых я никогда не мог различить, где в них образы, а где идеи, я внезапно увидел себя теперь владыкой и монархом в пределах собственного царства.

Уравнения, которые я и прежде-то с грехом пополам штурмовал на бумаге, я начал играючи щелкать, как орехи, сразу добираться до ядра, не прибегая к перу.

И все это я делал благодаря новой пробудившейся во мне способности видеть и удерживать в памяти именно то, что мне было нужно: числа, формы, предметы или краски. И если речь шла о вопросах, которые невозможно было решить с помощью штихеля — скажем, философские проблемы или что-то в этом духе, — тогда вместо внутреннего прозрения мне помогал слух, причем моим путеводителем здесь был голос Шмаи Гиллеля.

На мою долю выпало познание особого рода.

То, что я всю жизнь бесчисленное число раз бездумно пропускал мимо ушей как всего лишь одни слова, предстало передо мной в своем бесценном содержании до тончайших оттенков; то, что мне когда-то приходилось заучивать «наизусть», теперь «усваивалось» мною с первого раза и становилось моей «собственностью». Тайны словотворчества, о которых я никогда и не подозревал, стали для меня явными.

«Благородные» идеалы человечества, еще недавно взиравшие на меня свысока, точно торговец с честной физиономией и грудью, заляпанной орденами, безропотно сбросили личины со своих рыл и умоляли о пощаде: они ведь сами только сирые и убогие, но приберегли костыли для еще более наглого надувательства.

Может быть, мне все-таки это снится? И я вовсе не разговаривал с Гиллелем?

Я пододвинул кресло поближе к себе.

И точно: там была свеча, которую мне дал Шмая; и счастливый, как младенец в ночь под Рождество, убедившийся, что чудесная кукла у него в самом деле живая,

я снова опустил голову на подушку.

И будто ищейка стал пробираться дальше сквозь обступившие меня дебри головоломок.

Сначала я попытался восстановить в памяти время в моей жизни, доступное воспоминаниям. Только оттуда — казалось мне — я смогу проследить ту часть пути в жизни, которая из-за превратностей судьбы покрыта для меня мраком неизвестности.

Но сколько я ни старался, мне не удалось продвинуться ни на шаг, кроме того, что я видел себя стоявшим в сумрачном дворе нашего дома и смотревшим сквозь ворота на лавку Аарона Вассертрума — как будто я целый век прожил в этом доме, вечно старый резчик камней, у которого никогда не было детства!

Я уже хотел было отказаться от безнадежной попытки добраться до глубоких пластов прошлого, как вдруг с поразительной ясностью понял, что, пожалуй, моя память сохранила в прошлом широкую дорогу, неизбежно упирающуюся в ворота. Но я тем не менее не замечал множества еле заметных узких тропинок, почти всегда идущих рядом с большой дорогой. «Откуда у тебя знания, — услышал я внутри себя голос, — благодаря которым ты продолжаешь существовать? Кто обучил тебя вырезать камни, делать гравюры и всему остальному? Читать, писать, говорить, есть, шагать, дышать, мыслить и чувствовать?»

Я тут же последовал совету внутреннего голоса. Стал все время обращаться к прошлому.

Я вынужден был непрерывно возвращаться назад, продумывая, что произошло в данный момент, что стало истоком того или иного случая, что было перед этим, и так далее.

И снова я неизбежно упирался в какие-то ворота — сейчас они вот-вот откроются! Сейчас лишь небольшой прыжок в пустоту, и пропасть, разделявшая меня от позабытого прошлого, будет преодолена. И тут передо мной возникла картина, которой я не заметил при мысленном дви-

жении вспять: Шмая Гиллель провел рукой по моим глазам — точно так же, как раньше, у себя в комнате.

И все растаяло. Даже желание вспахивать пласты забытого прошлого.

Лишь в одном я безусловно выиграл — в познании того, что моя дорога жизни заканчивалась тупиком, какой бы широкой и торной она ни была. Узкие потаенные тропинки возвращают нас к утраченному родному краю: та из них, что едва заметным росчерком выведена в нашей плоти, а не страшные рубцы, оставленные рашпилем суетного бытия, — это она, та тропка, скрывает разгадку последней тайны.

Так же как я мог возвращаться в детство, когда мне нравилось читать алфавит в букваре в обратном порядке от Я до А, и добраться туда, где я начал учиться в школе, — так же мне надо было добраться, понимал я, до иной, затерянной вдали родины, находившейся по ту сторону любой мысли.

Земная сфера переложена на мои плечи. Геракл тоже держал на голове небесную сферу недолго, припомнилось мне, скрытый смысл легенды предстал предо мной в истинном свете. И как Гераклу благодаря хитрости удалось освободиться, когда он предложил титану Атласу: «Позволь мне только обвязать голову пучком веревок, чтобы мой череп не треснул под страшной тяжестью», так, может быть — чудилось мне, — глухая тропа избавит меня от тяжести забвения и выведет из тупика.

Глубокое недоверие к тому, чтобы слепо положиться в поисках на указующий перст логики, внезапно овладело мной. Я улегся, закрыл пальцами глаза и уши, чтобы ни на что не отвлекаться и не давать пищи для размышлений.

Но моя воля разбилась о несокрушимый закон — я всегда мог прогнать мысль только другой мыслью, и когда одна умирала, следующая питалась ее плотью. Я погружался



в шумный поток собственной крови, а мысли следовали за мной по пятам; на миг я скрывался в кузнице своего сердца, но они выслеживали меня и здесь.

Снова участливый голос Гиллеля пришел мне на помощь и сказал: «Иди своей стезей непоколебимо! Ключ к искусству забвения нужен нашим братьям, ступившим на дорогу смерти; но ты зачат от духа жизни».

Передо мной появилась книга Иббур, и в ней вспыхнули две буквы — одна, обозначающая медную женщину, пульс которой бился с силой, равной землетрясению, и вторая в бесконечной дали: гермафродит на перламутровом троне, в короне из красного дерева, венчавшей его главу.

Шмая Гиллель третий раз провел рукой по моим глазам, и я погрузился в глубокий сон.

## Снег

«Дорогой и уважаемый мастер Пернат!

Пишу Вам это письмо в ужасной спешке и крайней тревоге. Пожалуйста, уничтожьте его сразу же, как только прочтете, — или еще лучше, верните его мне вместе с конвертом. Иначе я не успокоюсь.

Ни одна живая душа не должна знать, что я Вам написала. А также и то, куда Вы сегодня пойдете!

Ваше честное и доброе лицо «на днях» внушило мне полное доверие (после этого скупого намека на событие, свидетелем которого Вы были, нетрудно догадаться, кто Вам пишет, потому что я боюсь ставить свое имя в конце письма), и более того, Ваш любимый покойный отец знал меня еще ребенком — все это придает мне смелости обратиться к Вам, как, вероятно, единственному человеку, который еще может мне помочь.

Умоляю Вас прийти сегодня вечером в пять часов в собор на Градчанах.

*Ваша знакомая».*

С добрую четверть часа я сидел, держа письмо в руках. Странное возвышенное состояние духа, в котором я пребывал со вчерашней ночи, разом исчезло — унесено было свежим дыханием ветерка нового земного дня. Смеясь и счастье обещая, вошла ко мне юная фортуна, дитя весны. Душа живая просила у меня защиты! У меня! Как разом преобразилась моя каморка! Источенный жучком резной шкаф стал смотреть крайне миролюбиво, а четыре кресла

представлялись мне старцами, игравшими в карты за столом и по-домашнему подтрунивавшими друг над другом.

Жизнь снова вернулась ко мне во всем своем блеске и великолепии.

Стало быть, бесплодная смоковница может приносить плоды?

Я чувствовал, как меня пронизывают живые токи энергии, до сих пор дремавшей во мне, — скрытой в глубине души, оглушенной гулом будней, пробившей лед точно родник.

И я твердо знал, когда держал в руке письмо, что сумею помочь, чего бы это мне ни стоило. Мое ликующее сердце было переполнено верой.

Затаив дыхание, я без конца перечитывал строчки: «... и более того, Ваш любимый покойный отец знал меня еще ребенком». Разве это не звучало как обет: «Еще сегодня будешь ты со мной в раю»? Рука, протянутая в поисках защиты, приносила мне в дар *воспоминание, которого я так жаждал*, — она раскрыла мне тайну, она поможет поднять мне полог, скрывавший мое прошлое!

«Ваш любимый покойный отец» — как странно звучали слова, когда я повторял их! Отец! На миг я увидел перед собой усталое лицо седого старика, сидевшего в кресле рядом с моим комодом, — чужое, совсем чужое лицо и тем не менее такое ужасно знакомое; тогда я взглянул внутрь себя, и громкие удары сердца отсчитали ощутимые часы жизни.

Я вскочил в испуге: неужели проспал?

Взглянул на часы: слава Богу, только половина пятого.

Я пошел в спальню, надел шляпу и пальто и стал спускаться по лестнице. Мне уже не было дела до шепотка сумрачных углов, до злых, мелочных и раздраженных рассуждений, исходивших сегодня от них, как всегда: «Мы тебя не отпустим — ты наш — мы не хотим, чтобы ты радовался, — что может быть прекрасней радости здесь, в доме!»

Мелкая ядовитая пыль, протягивавшая ко мне из всех

углов и коридоров свои щупальца, пытающиеся удушить, сегодня отступила от моего ожившего дыхания. На миг я остановился у двери Гиллея.

Войти или нет?

Непонятная робость не позволила мне постучать. Сегодня у меня было совсем другое настроение — я чувствовал, что мне почему-то *нельзя* войти к нему. И десница живого дела уже повела меня вперед, вниз по лестнице.

Переулок поседел от снега.

Кажется, встречные здоровались со мной, не могу припомнить, отвечал ли я на их приветствия. Я без конца прикасался к груди, проверяя, на месте ли письмо. Оттуда исходило тепло.

Через сводчатую арку я вышел на Старогородскую площадь и миновал бронзовый фонтан, решетка которого в стиле барокко была увешана сосульками, перешел по Каменному мосту с его фигурами святых и большой статуей Яна Непомука \*.

Внизу kloкотала река, в дикой злобе ударяя в каменные быки.

Мой полусонный взгляд упал на выщербленную песчаниковую фигуру святой Лутгарды, обреченной на муки: снег густо лежал на веках кающейся мученицы и на цепях, сковавших простертые в молитве руки.

Арки ворот втягивали и выталкивали меня, мимо не спеша тянулись дворцы с резными торжественными порталами, внутри которых виднелись львиные головы с бронзовыми кольцами в пасти.

И здесь повсюду снег и снег. Мягкий, белый, как шкура исполинского северного медведя.

\* Священник и духовник королевы Яны, жены Вацлава IV, родился в 1330 году. По преданию, за отказ выдать королю тайны его супруги, сообщенные Непомуку на исповеди, был сброшен с моста во Влтаву. Канонизирован папой Бенедиктом XIII.

Высокие горделивые окна с блестящими обледенелыми карнизами равнодушно созерцали облака.

Я удивился, что небо было переполнено летящими птичьими стаями.

Я поднимался по бесчисленным гранитным ступеням на Градчаны, где каждая ступень была шириною в четыре человеческих роста, и перед моим взором внизу постепенно открывался город со своими крышами и фронтонами.

К домам уже подкрадывались сумерки, когда я вышел на уединенную площадь, в центре ее высился собор, вершину которого венчал ангел на престоле.

Чьи-то следы — кромка их была стянута корочкой льда — вели к боковой двери храма.

Откуда-то издалека, из какой-то дальней квартиры, в вечерней тишине плыла еле слышная угасающая мелодия фисгармонии. Звуки падали в одиночестве, словно капали слезы печали.

Двери собора за мной закрылись, и я услышал их мягкий вздох. Я очутился во мраке, лишь золотой алтарь переливался в глубокой тишине в изумрудном и лазурном сиянии угасающих лучей, падавших сквозь цветные витражи на скамьи. Из красных стеклянных лампад сыпались искры.

Воздух был наполнен слабым ароматом воска и ладана.

Я оперся на скамью. Мое сердце странно молчало в этом царстве неподвижности.

Жизнь умолкшего сердца заполнила пространство — таинственное, смиренное ожидание.

Вечным сном покоились мощи в серебряных раках...

Вот! Из далекого далека послышался приглушенный топот конских копыт. Едва доносившийся до моего слуха, он становился все громче и внезапно смолк.

Раздался слабый звук, точно хлопнула дверца кареты.

За моей спиной послышался шелест шелкового платья, и

нежная тонкая рука коснулась моего плеча.

— Пожалуйста, пойдите поближе к колоннам. Мне неловко говорить здесь, у моленных скамей о вещах, которые я хочу сообщить вам.

Торжественность окружающего вылилась в трезвую ясность. Будни внезапно позвали меня к себе.

— Не знаю даже, как мне вас благодарить, мастер Пернат, за то, что вы в скверную погоду не испугались пойти в такую даль.

Я пролепетал две-три банальные фразы.

— Не знаю более надежного места, чем это, где бы можно было скрыться от опасных свидетелей. Здесь же, в соборе, нас, конечно, никто не станет искать.

Я извлек письмо и протянул его женщине.

Она была закутана в богатую меховую шубу, но даже по звуку ее голоса я узнал в ней ту, что в прошлый раз в страхе перед Вассертрумом вбежала в мою каморку на Ханпаггассе. Впрочем, я не особенно удивился этому, поскольку никого другого и не ожидал.

Я смотрел на ее лицо, в сумраке каменной ниши оно, может быть, казалось бледнее, чем, наверное, было на самом деле. Ее красота заставила меня задохнуться, я будто прирос к полу. Охотней всего я упал бы перед ней на колени и целовал бы ей ноги только за то, что я должен помочь именно ей, за то, что она выбрала меня.

— Прошу вас, забудьте о том случае, когда вы меня увидели в последний раз — хотя бы на то время, пока мы здесь,— сдавленным голосом продолжала она.— Я совсем не знаю, как вы относитесь к подобным вещам...

— Я дожил до старости, но ни разу в жизни не был столь самонадеян, чтобы стать судьей своих ближних,— это было все, что я мог из себя выдать.

— Благодарю вас, мастер Пернат,— тепло и просто сказала она.— А теперь наберитесь терпения и слушайте. Не смогли бы вы мне помочь выйти из отчаянного по-

ложения или по крайней мере дать какой-нибудь совет? — Я чувствовал, что ею овладел жуткий страх, и слышал, как дрожит ее голос. — В прошлый раз — в студии — во мне зародилось подозрение, что тот кровожадный людоед с какой-то целью преследует меня. Уже спустя несколько месяцев я обратила внимание, что куда бы ни шла — одна, или со своим мужем, или с ... с доктором Савиоли, — всегда где-нибудь рядом оказывалось мерзкое бандитское лицо того самого старьевщика. Его косой взгляд преследовал меня во сне и наяву. И намек еще не было на то, что он замышлял, но уже по ночам я задыхалась от мучительного страха, что он набрасывает мне на шею петлю!

Сначала доктор Савиоли пытался успокоить меня, убеждая, что жалкий старьевщик Аарон Вассертрум в худшем случае способен на мелкий шантаж или что-то подобное, но всякий раз при упоминании имени Вассертрума у него белели губы. Я чувствую, доктор Савиоли что-то скрывает, чтобы не тревожить меня, скрывает нечто ужасное, что ему или мне может стоить жизни.

А после я узнала, что он так старательно пытался скрыть: *старьевщик неоднократно навещался в его квартиру по ночам!* Я знаю это, чувствую каждой клеточкой, происходит нечто такое, отчего вокруг нас медленно затягивается петля. Что этому душегубу от нас нужно? Почему доктор Савиоли не в силах справиться с ним? Нет, нет, я больше не могу спокойно на это смотреть. Мне надо что-то придумать. Что-нибудь, иначе можно сойти с ума...

Я пытался успокоить ее, но она прервала меня на полуслове:

— А в последние дни злой дух, угрожающий задушить меня, все время принимает зримые формы. Доктор Савиоли внезапно занемог — мне нельзя навещать его, если я не хочу огласки, чтобы знали о моей любви к нему. Он лежит

в горячке, и единственное, о чем можно было узнать, это то, что он в бреду воображает, что его преследует чудовище с заячьей губой — Аарон Вассертрум!

Я знаю, доктору Савиоли не откажешь в мужестве, но тем ужаснее — можете себе представить? — это действует на меня, когда я вижу, что он бессилен теперь перед опасностью, и я ее сама чувствую словно зловещее приближение грозного ангела смерти.

Вы скажете, я трусиха и почему бы мне открыто не признаться, если я так люблю его, и не поступиться всем — богатством, честью, репутацией и прочим, но... — она буквально закричала так громко, что долгое эхо отразилось от хоров, — я не могу! У меня же ребенок, белокурая крошечная девчушка! Я не могу расстаться с ней! Думаете, мой муж отдаст ее мне?! Вот, вот, возьмите, мастер Пернат, — не помня себя от отчаяния, она рывком раскрыла сумочку, набитую до отказа жемчужными низками и драгоценностями, — и отнесите палачу. Знаю, он жаден и заберет у меня все до последнего, но пусть только не трогает моего ребенка. Ведь правда, он будет молчать? Ну скажите же, ради Христа, хоть словечко, что поможете мне!

Мне с трудом удалось более или менее успокоить обезумевшую от горя женщину и усадить на скамью. Разговаривая с нею под влиянием минуты, я произносил путаные, бессвязные фразы.

Мысли вихрились в моем мозгу, и я сам едва мог понять, что говорю: они мчались одна за другой — фантастические идеи — и погибали, едва успев появиться на свет.

В рассеянности я остановил взгляд на раскрашенной статуе инок в стенной нише. Я продолжал говорить и говорить. Исподволь очертания статуи изменились, ряса превратилась в поношенное пальто с высоко поднятым воротником, а наружу выглядывало юношеское лицо со впалыми щеками и чахоточным румянцем.

Прежде чем видение дошло до моего сознания, инок снова



стоял на своем месте. Я слышал стук своего сердца.

Бедная женщина оперлась на мою руку и беззвучно рыдала.

Я передал ей часть своей бодрости, обретенной мною в тот час, когда читал письмо, и теперь ко мне снова вернулись силы, и я увидел, как женщина постепенно приходила в себя.

— Я скажу, почему обратилась именно к вам, мастер Пернат,— снова начала она чуть слышно после долгого молчания.— Вы обронили всего несколько слов мимоходом, но я не могла их забыть многие годы...

Многие годы. Кровь застыла в моих жилах.

— Вы прощались со мной — не помню, зачем и почему, я же была еще ребенком, и вы сказали с такой искренностью и с такой печалью: «Прошлого не вернуть. Но вспомните обо мне, если когда-нибудь в жизни вы не будете знать, что делать. Быть может, Бог даст, мне можно будет помочь вам». Я тогда отвернулась и тут же бросила свой мячик в фонтан, чтобы вы не заметили моих слез. А потом решила подарить вам коралловое сердечко, которое я носила на шее на шелковой ленточке. Но мне стало стыдно, я боялась показаться смешной...

*Память!*

Ледяные пальцы столбняка сдавили мне горло. Мерцающий блеск тоски, точно из позабытой далекой отчизны, коснулся моих глаз — внезапно и пугающе. Маленькая девочка в белом платье на тенистой лужайке дворцового парка, окаймленного столетними вязами. Я снова отчетливо увидел это перед собой.

Должно быть, я побледнел; а заметил я это по торопливости, с какой она продолжала:

— Я ведь знаю, ваши слова были сказаны под настроением, с каким вы прощались со мной, но они часто утешали меня — и я вам благодарна за это.

Я с силой стиснул зубы и сдержал крик боли, рвущей мне сердце.

Я понял: то была милосердная длань, закрывшая засов на воротах моей памяти. В сознание теперь четко вписалось, что непродолжительный мерцающий блеск исходил из далекого прошлого: любовь, так сильно овладевшая моим сердцем, надолго подточила мой мозг, и тогда ночь безумия пролилась бальзамом на мою кровоточащую душу.

Мало-помалу на меня снизошла тишина вечного покоя и осушила мои слезы, застилавшие мне глаза. Косные переборы благовеста сурово и величественно заполнили собор, и, радостно улыбаясь, я уже мог смотреть в глаза той, что пришла искать у меня защиты.

Снова стал слышен глухой стук дверцы экипажа и цокот копыт.

По вечернему голубому и сверкающему снегу спустился я в город.

Фонари удивляли меня мигающими глазами, а горы сваленных вместе елок под шепот канители и серебряных орехов говорили мне о наступающем Рождестве.

На площади Ратуши при сиянии свечей у статуи Мадонны нищенки в серых платках, перебирая четки, бормотали молитвы Богоматери.

Перед темным проходом в еврейский квартал присели на корточки лавки рождественской ярмарки. В центре ее, обтянутые красной материей и ярко освещенные коптящими факелами, стояли открытые подмостки театра марионеток.

Полишинель Цвака в пурпурно-лиловом одеянии, с кнутом в руке и привязанным к концу его хлыста черепом скакал верхом — под ним по сцене громыхал сивый мерин.

Перед сценой рядами, плотно прижавшись друг к другу, неподвижно сидела малышня и не отрывала глаз от действия — шапки надвинуты глубоко на уши, рты разинуты,—

все зачарованно внимали стихам пражского поэта Оскара Винера, которые читал мой друг Цвак, спрятанный за стенами ящика:

А рыцарь наш был парень хват,  
Под стать поэту тощ был тоже,  
Носил заплаты ярче лат  
И, напиваясь, корчил рожи.

Я свернул в темный извилистый переулок, выходивший на площадь. Там во мраке перед небольшой афишкой плотной стеной стояла молчаливая толпа.

Я подошел. Мужчина зажигал спички, и я успел прочесть обрывки строчек. Моя отупевшая голова удержала несколько слов:

### **РАЗЫСКИВАЕТСЯ!**

1000 гульденов награды

Пожилый господин... одетый в черный...

... приметы:

... полный... гладко выбритое лицо...

... цвет волос: седой...

Управление полиции... кабинет № ...

Как живой труп, бездумно и безучастно продолжал я не спеша свой путь мимо мрачных зданий.

Горстка крошечных звезд сверкала над фронтонами домов в убогой темени мироколицы.

Безмятежно уносился я мыслями обратно в собор, и тишина в глубине души моей становилась еще упоительней и безмерней, когда со стороны площади — как будто над самым моим ухом — в морозном воздухе раздался яркий голос актера-кукловода:

Так где сердечко из коралла?  
На ленте шелковой оно  
В лучах рассвета заиграло...

## Призрак

До глубокой ночи я не находил себе места, шагая из угла в угол, ломая голову над тем, как лучше ей помочь.

Много раз я был близок к тому, чтобы спуститься к Шмае Гиллелю и рассказать ему то, что было доверено мне одному, и попросить совета. И каждый раз отказывался от своего решения.

Он вставал перед моим мысленным взором в таком величии, что мне казалось кощунством обременять его вещами, касающимися суетного бытия, после чего снова наступали моменты, когда меня начинали одолевать жгучие сомнения, переживаю ли я все это на самом деле, ведь прошло только совсем немного времени и тем не менее случившееся казалось мне таким странно поблекшим по сравнению с жизненным напором событий минувшего дня.

Неужели я все-таки не сплю? Можно ли мне — человеку, которому кажется невероятным, что он забыл свое прошлое, — быть уверенным хотя бы на миг, что все происшедшее со мной случилось наяву, если единственным свидетелем этому была только моя память?

Мой взгляд упал на свечу Гиллеля, все еще стоящую на кресле. Слава Богу, по крайней мере, одно непреложно — я разговаривал с ним лично!

Нельзя ли, не тратя времени на размышления, спуститься к нему, обнять его колени и как человек человеку пожаловаться, какая несказанная печаль подтачивает мне душу?

Я взялся было за дверную ручку, но тут же снова отдернул пальцы; представил, что произойдет: Гиллель из милосердия проведет рукой по моим глазам... Нет, нет, только не это! Я не имею права просить утешения. Она доверилась мне, надеясь на мою помощь, и если понимала, что находится в опасности, которая мне, впрочем, моментами казалась слишком ничтожной, — для *нее* опасность, несомненно, представлялась бесконечной!

Я старался рассуждать спокойно и трезво — еще есть время посоветоваться с Гиллелем завтра; беспокоить его сейчас — среди ночи — исключено. Так может поступить только сумасшедший.

Хотел зажечь лампу, но раздумал. Снова лунный отблеск отражался с противоположной крыши и освещал мою каморку ярче, чем мне это было нужно. Я боялся, что, если зажгу лампу, ночь станет еще длиннее.

Так велико было отчаяние при мысли зажечь лампу, чтобы только поскорее дождаться дня, — легкий страх подсказывал мне, что рассвет из-за этого никогда не наступит.

Я подошел к окну: там в вышине, словно призрачное, парящее в воздухе кладбище, стояли ряды вычурно украшенных фронтонов — как каменные надгробия со стертыми датами жизни и смерти, взгромоздившиеся на мрачные разрушенные могилы, эти «жилища», в которых толпы ныне здравствующих людей прогрызли норы и проходы. Долго я так стоял и пристально вглядывался, пока не начал тихо, совсем тихо удивляться, отчего же я не испугался, когда все-таки до моего слуха отчетливо дошел шорох осторожных шагов рядом за стеной.

Я прислушался: вне сомнений, там снова ходил человек. Резкий скрип половиц выдавал вкрадчивую робость ступающих подошв.

Я сразу пришел в себя. И буквально стал меньше ростом, так все сжалось во мне под влиянием желания услы-

шать. И все ощущение времени сгустилось в одну точку сиюминутности.

Снова проворный шелест, будто испугавшийся самого себя и торопливо удалившийся. Затем мертвая тишина. Та затаенная, мучительно тягучая тишина, выдающая самое себя и моментами превращающаяся в бесконечную пытку.

Я стоял неподвижно, приложив ухо к стене, с чувством страха в горле оттого, что тот стоит за стеной точно так же, как и я, и делает то же самое.

Я продолжал прислушиваться: ни звука.

Студия словно вымерла.

Бесшумно — на цыпочках — подкрался я к креслу у своей постели, взял свечу Гиллеля и засветил ее.

После чего подумал: железный чердачный люк снаружи у входа, ведущего в студию Савиоли, можно открыть только изнутри.

На всякий пожарный случай я взял крючковатый обрезок проволоки, лежавший среди моих штихелей на столе: такие замки легко открывались. При первом же нажиме на пружину.

И что тогда произошло бы?

Это мог быть только Аарон Вассертрум, шпионивший за стеной,— возможно, рылся в комод, рассуждал я, чтобы заполучить себе в руки новое оружие и улики.

Но много ли будет проку, если я вмешаюсь?

Ничтоже сумняшеся тут же решил: действуй, а не кисни в рассуждениях! Только бы прервать это ужасное ожидание рассвета!

И вот я уже стоял перед чердачным люком, осторожно нажал, протолкнул крючок в замок и прислушался. Точно: скользкий шорох в студии, как будто кто-то выдвигал ящик из стола.

В ту же секунду затвор отскочил назад.

Я успел оглядеть комнату и увидел, хотя было почти

темно и свеча только слепила мне глаза, как человек в длинном черном пальто отскочил от письменного стола, мгновение помешкав в поисках убежища, сделал движение, словно хотел броситься на меня, затем сорвал с головы шляпу и быстро прикрыл ею лицо.

«Что вы здесь ищете?» — собрался было крикнуть я, но человек опередил меня:

— Пернат! Это вы? Слава Богу! Погасите свечу!

Голос показался мне знакомым, но ни в коем случае он не мог принадлежать старьевщику Вассертруму.

Я машинально задул свечу.

В комнате стоял полумрак — только в оконную нишу проникла мерцающая дымка, тускло освещавшая помещение, совсем как у меня, и я с предельным вниманием всматривался в темноту, прежде чем в изможденном лихорадочном лице, вдруг выплывшем из пальто, мог узнать черты студента Хароузeka.

«Инок!» — готово было сорваться у меня с языка, и я тут же вспомнил вчерашнее видение в соборе. *Хароузек! Именно тот человек, который мне нужен!* И я вновь услышал его слова, произнесенные прошлый раз во время дождя, когда мы стояли под аркой ворот: «Скоро Аарон Вассертрум узнает, что стены можно проткнуть отравленной невидимой иглой, день в день, когда он схватит доктора Савиоли за глотку».

Значит, Хароузек — мой союзник? Известно ли ему тоже, что произошло? Его присутствие здесь в столь необычный час говорило само за себя, но я побоялся задать ему этот вопрос в лоб.

Он торопливо подошел к окну и посмотрел вниз в промежек занавесок на улицу.

Я догадался: он опасался, что Вассертрум мог заприметить огонек от моей свечи.

— Вы, конечно, думаете, что я ночной тать, шатающийся по чужим горницам, мастер Пернат, — произнес он неуверенно

ным голосом после продолжительного молчания.— Но клянись вам...

Я тут же перебил Хароузeka и успокоил его.

Чтобы показать, что я не питаю к нему ни капли недоверия, а, напротив, вижу в нем союзника, рассказал ему с некоторыми пропусками, которые счел необходимыми, как обстоит дело со студией и как я боялся, что хорошо знакомой мне женщине грозит опасность в каком-то роде стать жертвой алчного шантажиста.

По вниманию, с каким он выслушал меня, не прерывая вопросами мой монолог, я пришел к выводу, что он почти все знает, хотя, может быть, без некоторых деталей...

— Видимо, так оно и есть,— задумчиво сказал он, когда я подошел к концу рассказа.— Значит, я все-таки не ошибся! Прохвост решил взять Савиоли за глотку, это ясно как божий день. Но, видимо, еще не собрал достаточного материала. Потому-то он обычно без конца таскается сюда! Как раз я шел вчера, как говорится «случайно», по Ханпасгасесе,— объяснил Хароузек, увидев мое недоумевающее лицо.— И тут обратил внимание, что Вассертрум сначала очень долго — с напускной беспечностью — шлендрал у ворот, но потом, думая, что его никто не видит, мигом шмыгнул в дом. Я тут же следом за ним, сделав вид, что собираюсь заглянуть к вам, то есть я постучался к вам и застал его врасплох, когда он у железной двери на чердак шуровал ключом снаружи. Конечно, он тут же спохватился, когда я подошел, и под тем же предлогом, что и я, постучался в вашу дверь. Впрочем, вас не оказалось дома, так как никто не открыл нам.

Когда я позже осторожно справился в еврейском квартале об ателье, мне поведали, что кто-то, по описанию это мог быть только доктор Савиоли, тайно снимает здесь квартиру. Когда доктор Савиоли тяжело заболел, до всего остального я додумался сам.



Смотрите, я это вытащил из всех ящиков, чтобы на всякий случай опередить Вассертрума,— заключил Хароузек и показал на пачку писем, лежавших на письменном столе.— Это все, что я мог найти в документах. Авось больше ничего и нет. По крайней мере, я обшарил все комоды и шкафы, благо в потемках.

Слушая его, я осмотрел комнату, и невольно мой взгляд приковал люк в полу. При этом я смутно помнил, что Цвак мне когда-то рассказывал, что в студию снизу ведет потайной вход.

Это была четырехугольная плита с кольцом вместо ручки.

— Где нам спрятать письма? — снова начал Хароузек.— Вы, мастер Пернат, и я, пожалуй, единственные во всем гетто, кто кажется Вассертруму безобидными людьми. Почему именно я, на это... у меня... свои особые... основания (я увидел, как исказились от гнева черты его лица, как он буквально перекусил пополам последнюю фразу), а вы для него...— Хароузек проглотил слово «сумасшедший» с судорожным деланным кашлем, но я догадался, что он хотел сказать. Однако горечи я не испытывал: сознание, что я могу «ее» защитить, делало меня таким счастливым, что любая обида была против него бессильна.

Наконец мы сошлись на том, что спрячем письма у меня, и прошли в мою комнату.

Хароузек давно ушел, но я все еще не решался подойти к своей кровати. Какая-то внутренняя тревога терзала меня и не давала уснуть. Что-то еще я должен был сделать, подумал я, но что, что?

Составить план для студента, как действовать дальше?

Это было ни к чему. Хароузек и без того не спускал со старьевщика глаз, это несомненно. Я содрогнулся, подумав о ненависти, которой были проникнуты его слова.

Что же такого Вассертрум мог ему сделать?

Странная душевная тревога росла и приводила меня в от-

чаяние. Незримый потусторонний глас взывал ко мне, но я не понимал его.

Я казался себе конем, чувствующим во время тренажа, как дергается повод, и не знающим, какой трюк надо выполнить, не понимающим команды седока.

Или все-таки спуститься к Шмае Гиллелю?

Все мое существо протестовало.

Видение инока в соборе, на плечах которого вчера выросла голова Хароузeka, как ответ на немую просьбу о защите, было для меня достаточным намеком, чтобы и впредь не пренебрегать смутным предчувствием. Тайные силы пробудились во мне с давних пор, это было неизбежно, чувства обострились во мне, сколько бы я ни пытался это отрицать.

*Чувствовать* буквы, а не только читать их — стать в самом себе толкователем, переводящим для себя то, что подсказывает бессловесный инстинкт, именно здесь должен находиться ключ, сознавал я, с помощью которого можно объяснить ясным языком собственную душу.

«Есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат» \*, — вспомнил я слова из Библии, объясняющие мою мысль.

«Ключ, ключ, ключ», — машинально повторяли мои губы, пока призрак этой непонятной идеи морочил мне голову, и я внезапно увидел это.

«Ключ, ключ?..» Мой взгляд упал на проволочный крючок, который я держал в руке, только что помогший мне открыть чердачную дверь. И жгучее любопытство, куда же все-таки может вести четырехугольный люк из студии, так и разбирало меня.

Недолго думая, я еще раз пробрался в студию Савиоли и стал тянуть за подъемное кольцо люка, пока мне не удалось поднять плиту.

\* Псалом 113, 13—14; 134, 16—17.

Поначалу внизу ничего не было видно — сплошной мрак. Потом я стал различать узкие крутые ступени, ведущие в глубину тьмы.

Я начал спускаться.

Некоторое время вел рукой на ощупь вдоль стены, но ей не было конца: проемы, сырые от слизи и плесени, повороты, углы, закоулки и проходы прямо, вправо и влево, остатки сгнившей деревянной двери, перекрестки, а потом снова ступени и ступени вверх и вниз.

И повсюду затхлый удушливый запах плесени и гнили.

И все еще никакого просвета.

Надо было хоть захватить свечку Гиллеля!

Наконец я почувствовал, что ступил на ровную гладкую землю.

Под ногами у меня раздался хруст, и я понял, что иду по сухому песку.

Это мог быть только один из бесчисленных проходов, видимо, ведущих без цели и смысла под гетто к реке.

Я не удивился: полгорода со времен царя Гороха стояло на таком подземном лабиринте, а у жителей Праги были веские основания прятать искони свои темные дела от дневного света.

Отсутствие всякого шума над головой подсказывало мне, что я все еще мог находиться в районе еврейского квартала, словно вымершего ночью, хотя под землей я был уже целую вечность. Оживленные площади или улицы наверху выдали бы себя грохотом проезжающих экипажей.

На мгновение я испугался: что, если я кружу на одном месте?! Или упаду в яму, поранюсь, сломаю ногу и не смогу идти?!

Что тогда будет с *ее* письмами, оставленными в моей квартире? Они неизбежно попадут в руки Вассертрума.

Воспоминания о Шмае Гиллеле, с которым смутно связывалось понятие заступника и наставника, невольно успокоили меня.



Но из предосторожности я сбавил шаг, ставя ноги на ощупь и подняв руки вверх, чтобы ненароком не удариться головой, если проход внезапно станет ниже.

Время от времени, а затем все чаще я опускал руки, и наконец свод потолка стал таким низким, что я, чтобы продвигаться, вынужден был нагнуться.

Вдруг моя поднятая рука оказалась в пустоте.

Я остановился и посмотрел наверх.

Постепенно я стал различать падающий с потолка свет, едва заметный проблеск.

Неужели здесь колодец, может быть, ведущий из глубокого подземья?

Я приподнялся и на уровне головы стал щупать вокруг себя руками: отверстие было точно четырехугольным и облицовано камнем.

Мало-помалу я начал видеть очертания горизонтального креста, и наконец мне удалось ухватиться за одну из перекладин, подтянуться и пролезть между ними.

Теперь я *стоял* на кресте и пытался понять, где же я нахожусь.

Видимо, здесь кончались остатки винтовой лестницы, если меня не обманывали мои пальцы.

Долго, невероятно долго должен был я ощупывать стену, пока не нашел вторую ступеньку, после чего взобрался на нее.

Всего было восемь ступенек. Каждая на расстоянии от следующей на высоте человеческого роста.

Непонятно: лестница вверху примыкала к горизонтальной панели, свет сквозь нее проникал в форме равномерных четких линий, замеченных мною уже в проходе.

Я наклонился, насколько мог, чтобы лучше разглядеть издали, как проходят линии, и, к своему удивлению, увидел, что они образуют форму шестиугольника, изображенного на синагоге.

Что же это могло быть?

Вдруг до меня дошло: да это же люк, пропускавший по краям свет! Деревянная крышка люка в форме звезды!

Я уперся плечом в крышку, поднял ее вверх и в следующий момент оказался в помещении, озаренном ярким лунным светом.

Это была довольно тесная комнатуха, совершенно пустая, с кучей тряпья в углу и с единственным зарешеченным окном.

Двери или, иначе говоря, входа, за исключением того, которым я только что воспользовался, обнаружить мне не удалось, как ни пытался я снова без конца ощупывать все стены.

Расстояние между прутьями решетки на окне было слишком узким, чтобы можно было просунуть голову, но тем не менее мне немало удалось увидеть.

Комната находилась приблизительно на высоте третьего этажа, так как дома напротив были только двухэтажные и крыши их были гораздо ниже окна, забранного решеткой.

Уличный тротуар был едва виден, но из-за лунного света, бьющего мне в лицо, там казалось так темно, что было невозможно разглядеть все подробно.

Переулок, безусловно, находился в еврейском квартале, поскольку окна на той стороне были все до единого заделаны кирпичом или обозначены в здании карнизом, а только в гетто дома были так странно повернуты спиной друг к другу.

Напрасно я мучился, чтобы дознаться, что же это за удивительное сооружение могло быть, где я находился.

Возможно, то была заброшенная боковая башенка греческой церкви? Или она каким-то образом принадлежала Старо-Новой синагоге?

Место было мне незнакомо.

Я снова оглядел комнату — ничего, что могло бы мне дать хотя бы небольшой намек на то, где я нахожусь. От стен и углов веяло холодом, штукатурка давно обвали-

лась, и ни одной дырки от гвоздей, которые могли бы подсказать, что когда-то в помещении кто-то жил.

Пол был покрыт толстым слоем пыли, словно по нему уже с десяток лет не ступала ни одна живая душа.

Рыться в старом тряпье, брошенном в углу, мне претило. Там было довольно темно, и я не мог различить, что это за вещи.

Внешне они выглядели как лохмотья, сваленные в кучу.

Или, может, как два-три старых черных чемодана?

Я поддел рухлядь ногою, и каблуком мне удалось частично пододвинуть тряпье ближе к полоске света, отбрасываемого луною поперек комнаты. То оказался объемистый темный узел, лениво развернувшийся передо мной.

Как бельмо, сверкнуло пятно!

Может, металлическая пуговица?

Мало-помалу до меня дошло, что из узла выпал рукав необычного допотопного покроя.

И внизу лежала небольшая белая коробка или что-то похожее на нее, придавленная моей ногой и распавшаяся на множество засаленных листиков. Легким ударом ноги я поддел один из них. Листок полетел к свету.

Открытка?

Я нагнулся — пагат \*?

То, что мне показалось белой коробкой, было колодой карт для игры в тарок.

Я поднял их.

Возможно ли что-то более забавное, чем карточная колода здесь, в этом таинственном месте!

Странно, что это вызвало у меня улыбку. Едва заметное чувство страха прокралось мне в душу.

Я пытался найти банальное объяснение тому, как могли попасть сюда карты, и машинально пересчитал их. Комплект

\* Первая козырная карта в широко тогда распространенной в Австрии карточной игре «тарок».

был полным — семьдесят восемь штук. Но уже во время подсчета я обратил внимание, что карты словно были сделаны из льдинок.

Сковывающий холод исходил от них, и когда я сжал колоду в руке, то с трудом мог разжать пальцы, схваченные судорогой. Снова пытался найти разумное объяснение этому — у меня легкая одежда, без пальто и шляпы я долго плутал по подземному ходу, глухая зимняя ночь, каменные стены, лютая стужа, проникавшая с лунными лучами в окно, — довольно странно, что только сейчас я почувствовал, что замерзаю. Волнение, в котором я все время находился, не давало мне почувствовать холод.

Тело мое пронзила дрожь. Мало-помалу мороз проникал в меня все глубже.

Я продрог до мозга костей, и каждую отдельную кость ощущал как ледяной металлический прут, на котором кончели мои мышцы.

Не помогали ни бег по комнате, ни топанье ногами, ни хлопанье руками. Я сжал зубы, чтобы не слышать, как они лязгают.

Это смерть, сказал я самому себе, наложившая свои ледяные длани на мое темя.

Как одержимый, боролся я с дурманом ледяного сна, обволакивавшего меня пушистым и душным покровом.

Письма, оставленные в комнате, — *ее* письма! — раздался крик внутри меня. Их обнаружат, если я умру. А она на меня надеется! Ее спасение в моих руках! Помогите! Помогите! Помогите!

Я кричал сквозь оконную решетку в пустынный переулок, так что эхо повторяло: «Помогите! Помогите!»

Я бросился на пол и снова вскочил. Мне нельзя умирать, нельзя! Ради нее, только ради нее! Во что бы то ни стало мне надо греметь костями, чтобы согреться.

Тут мой взгляд упал на тряпье в углу, я бросился к нему и трясущимися руками натянул его на себя.



Это был истлевший лапсердак из толстого темного сукна допотопного покроя.

От него несло гнилью и сыростью.

Затем, сев на корточки, я съежился в противоположном углу и постепенно, постепенно стал немного отогреваться. Но меня не покидало жуткое ощущение, что я продрог до мозга костей. Я сидел не двигаясь, лишь поводя глазами: карта, увиденная мною сначала — пагат,— еще лежала посередине комнаты, освещенная полоской света.

Я пристально всматривался в нее.

Поскольку я смотрел издали, мне казалось, что ее неумело разрисовала акварельными красками детская рука. Карта изображала начальную еврейскую букву «Алеф» в виде мужчины, одетого в древний франкский костюм, с коротко остриженной острой бородкой и поднятой левой рукой, в то время как правая показывала вниз.

Неужели мужчина на карте лицом так странно похож на меня? — стал подозревать я. Борода — она совсем не шла пагату, я подполз к карте и бросил ее в угол, где валялись остатки тряпья, чтобы бородач не докучал мне своим взглядом.

Теперь он валялся там — серо-белое смутное пятно — и мерцал передо мной в потемках.

С грехом пополам я заставил себя подумать, что следовало бы предпринять, чтобы снова добраться до дома.

Дождаться рассвета! Прохожие услышат крики из окна и, приставив лестницу снаружи, передадут мне свечу или фонарь! Я был твердо уверен, что без света, плутая по бесконечному излучистому подземному ходу, мне никогда не удастся добраться домой. Или же, если окно расположено высоко, чтобы кто-нибудь с крыши на веревке?.. Боже ты мой, точно молнией озарило меня; теперь я знал, куда попал: комната без двери — только с зарешеченным окном,— старинный особняк на Альтшюльгассе, обходимый всеми за версту! Уже много лет назад как-то спустился



по веревке с крыши один человек, чтобы заглянуть в окно, а веревка возьми и оборвись. Конечно: я попал в дом, где скрывался легендарный Голем.

Беспредельный ужас, с которым я тщетно боролся и которого я ни разу не смог подавить воспоминаниями о письмах, парализовал мои мысли, и сердце мое судорожно сжалось.

Второпях я повторял одеревеневшими губами, что это только ветер, ледяным дуновением тронувший углы комнаты, повторял все чаще и чаще со свистящим придыханием — больше ничто не помогало: там, по ту сторону, белеющее пятно — карта, она свернулась в пузырчатый сгусток, коснулась края светлой полосы и снова уползла в темноту. В пространстве послышались одинокие звуки — полувыдуманные, полуреальные — и тем не менее вне меня, и в то же время в другом месте — в глубине моей души, — и снова в середине комнаты. Звуки, похожие на шорох, который мог издавать циркуль, когда его острое воткнуто в сердцевину дерева!

И это неотступное белеющее пятно — белеющее пятно! Карта, жалкая, дурацкая и нелепая игральная карта, кричал я про себя. Все было тщетно: она все-таки вопреки всему обрела плоть — пагат забился в угол и уставился снизу на меня *моим собственным лицом*.

Бесконечно долго сидел я там, съежившись — не двигаясь — в своем углу, пряча ледяные кости в чужой истлевший лапсердак. А по ту сторону комнаты пагат — я сам.

Безмолвный и недвижимый.

Так мы всматривались — я в его лицо, а он в мое, одно — жуткое отражение другого.

В самом ли деле он видел, как лунные лучи подобно медлительной улитке пробираются по полу и ползут по стене, как стрелки невидимых часов в бесконечности, и становятся все бледнее и бледнее?

Я зачарованно смотрел на него, но ничто ему не помогало, когда он захотел раствориться в предрассветных лучах, идущих ему на помощь сквозь оконную решетку.

Я держал его.

Шаг за шагом я боролся за свою жизнь — за жизнь, которая принадлежала мне, потому что она больше не была моей.

И когда он совсем уменьшился и на рассвете снова забился в свою карту, я поднялся, подошел к нему и спрятал его в карман — пагат.

Переулок все еще был пуст и безлюден.

Я обшарил угол, освещенный теперь тусклым утренним светом: черепки, ржавая сковородка, истлевшие лохмотья, горлышко бутылки. Бездушные вещи и тем не менее до странности мне знакомые.

И стены тоже — как в них отчетливо обозначились дыры и трещины, где я их только видел?

Я взял в руки карточную колоду — мне почудилось: уж не сам ли я когда-то раскрасил ее в детстве? Давным-давно, а? Это была колода для игры в тарок. Карты с еврейскими знаками. Я смутно помнил, что номер двенадцать должен быть «повешенным». Уж не вниз ли головой и со связанными за спиной руками? Я перелистал колоду — так и есть! Это он.

После чего снова — в полусне и полуяви — передо мной возникла картина: почерневшая школа, сгорбленное, кособокое, мрачное и подозрительное здание с высоко поднятым левым крылом, а правое — сросшееся с соседним домом. Мы — подростки, какой-то заброшенный подвал.

Потом я оглядел себя с ног до головы и вновь не мог понять толком: откуда на мне допотопный лапсердак с чужого плеча?

Грохот прокатившейся внизу тележки испугал меня, я

выглянул, но на улице по-прежнему не было ни одной живой души. Только на углу разжиревший пес размышлял о чем-то своем.

Вот! Наконец-то голоса! Живые человеческие голоса!

Две старухи не спеша шли по улице, мне удалось наполовину протиснуть голову между прутьями, и я окликнул их.

Раскрыв рты, они уставились вверх и приготовились слушать. Но, увидев меня, издали истошный вопль и бросились наутек.

Они приняли меня за Голема, понял я.

И стал ждать, когда сбежится народ и я смогу объяснить им, как сюда попал, но пришлось ждать битый час, и только иногда из-за какого-нибудь угла осторожно выглядывало бледное лицо, подсматривавшее за мной, чтобы тотчас в смертельном страхе броситься прочь.

Ждать еще несколько часов, пока не придут полицейские — «державный мусор», как обычно называл их Цвак?

Нет, лучше попытаться отыскать дорогу по подземному ходу.

Может быть, теперь через щели свода пробиваются лучи света?

Я сполз вниз по лестнице, продолжив путь, каким шел вчера, — по наваленным кучами разбитым кирпичам, по разрушенному подвалу, потом вскарабкался по лестнице-развалюхе и сразу очутился в коридоре *почерневшей школы*, которую до этого я вроде бы видел как во сне.

В один миг на меня нахлынули воспоминания. Парты, забрызганные чернилами сверху донизу, тетрадки по арифметике, слезливые запевы, мальчик, выпустивший в классе майского жука, учебники с расплюснутыми бутербродами между страниц и запах апельсиновых корок. Теперь я достоверно знал: я бывал здесь когда-то в детстве. Но у меня не хватало времени на досужие размышления, и я поспешил домой.

Первым, кто меня встретил на Зальнитергассе, был суту-



лый старый еврей с седыми пейсами на висках. Едва взглянув на меня, он тут же закрыл лицо руками и с воем стал творить еврейскую молитву.

На крик выскочили из своих нор люди — за моей спиной поднялся неопиcуемый гвалт. Я оглянулся и увидел кишашую массу людей со смертельно бледными, искаженными от страха лицами, накатывавшую на меня.

Пораженный, я опустил очи долу и понял: поверх моего костюма на меня с ночи надет странный допотопный лапсердак — и люди поверили, что перед ними Голем.

Я быстро спрятался за угол у ворот дома и сбросил с себя истлевшие лохмотья.

И тут же мимо меня пронеслась толпа, размахивая дубьем и изрыгая на мою голову яростные проклятья.

## Луч света

В течение дня я не раз стучал в дверь к Гиллелю; на душе было тревожно: мне необходимо было поговорить с ним и спросить, что значили все эти загадочные события, но мне всякий раз говорили, что его нет дома, и я не знал, как мне быть.

Как только он вернется из Ратуши домой, его дочь тут же сообщит мне.

Впрочем, какая удивительная девушка эта Мириам!

Я никогда не встречал девушек подобного типа.

Красота такая самобытная, что в первый момент ее вовсе невозможно понять, красота, от которой теряешь дар речи, когда созерцаешь ее, и которая пробуждает необъяснимое чувство, вызывающее что-то вроде нежной грусти.

По законам пропорции, канувшим в Лету тысячелетия назад, обдумывал я, это лицо приняло форму, которую я снова видел перед собой.

И я размышлял над тем, какой драгоценный камень нужно отобрать, чтобы сохранить это лицо в камее и при этом, хотя бы чисто внешне, соблюсти художественную выразительность; черно-синий отлив волос и глаз, превзошедший все, о чем я только мог догадываться, мне не удавался. Как сначала овладеть неземною тонкостью лица в камее духовно и физически, не заходя в тупик поверхностного ремесленного сходства в духе канонической псевдохудожественной школы!

Я ясно понимал, что только в мозаике возможно до-



биться успеха, но какой материал выбрать? На его поиск может не хватить человеческой жизни.

И куда подевался Гиллель!

Я рвался к нему как к дорогому давнему другу.

Удивительно: за несколько дней — а я же разговаривал с ним, по сути дела, лишь раз в жизни, точно помню, — он покори́л мою душу.

Да, правильно: мне нужно все-таки понадежнее спрятать письма, ее письма. Чтобы не волноваться, если снова придется надолго уйти из дома.

Я вытащил их из комода: в шкатулке они сохранятся надежнее.

Из писем выпала фотография. Я не хотел смотреть, но было уже поздно.

Мне бросилась в глаза парчовая накидка на обнаженных плечах — такой я увидел «ее» впервые, когда она вбежала в мою комнату из студии Савиоли и поглядела мне в глаза.

Невыразимая боль пронзила меня. Я прочел надпись на фотографии, не понимая ни слова, и в конце имя — «Твоя Ангелина».

*Ангелина!!!*

Едва я произнес это имя, как сверху донизу порвался полог, скрывавший от меня мою молодость.

Я думал, что от горя рухну на пол. Судорожно сжал пальцы и стонал, кусая себе руки: только бы снова не видеть, Господи Боже мой, молил я, дай, как прежде, жить в глубоком сне.

Вкус печали подступил к губам. Мука. Странная сладость — как вкус крови.

Ангелина!!

Имя ее бродило в моей крови и превратилось в невыносимую таинственную ласку.

С огромным трудом я овладел собою и заставил себя — со скрежетом зубным — смотреть на фотографию, пока постепенно не взял власть над нею.

*Власть над нею!*

Так же, как сегодня ночью над игровой картой.

Наконец-то! Шаги! Мужские шаги!

Пришел!

Ликуя, я подбежал к двери и распахнул ее.

Передо мной стоял Шмая Гиллель, а за его спиной — я слегка упрекнул себя, что испытал разочарование, — краснощекий с круглыми детскими глазами старый Цвак.

— Рад видеть вас в полном здравии, мастер Пернат, — начал Гиллель.

Холодное «вы»?

Стужа. Лютая убийственная стужа внезапно нагрянула в комнату.

Подавленный, слушал я вполуха, как тараторил Цвак, задыхавшийся от волнения:

— Вы уже знаете, снова появился Голем! Намедни только и говорили об этом, вы еще помните, Пернат? Весь еврейский квартал на ногах, Фрисляндер видел его своими глазами, Голема то бишь. И опять, как всегда, началось с убийства...

Пораженный, я стал прислушиваться — убийство?

— Так вы ничего не знаете, Пернат? — затряс меня Цвак. — Но внизу на углу висит грозное обращение полиции. Ну, я таки считаю, что, возможно, убили директора страховой компании Зотмана, «вольного каменщика». Лойзу забрали тут же — в доме. Рыжуха Розина бесследно исчезла... Голем... Голем. Это ж просто конец света.

Я ничего не ответил и увидел глаза Гиллеля: почему он так пристально смотрел на меня?

Сдержанная улыбка вдруг тронула уголки его рта.

Я понял — она предназначалась мне.

Охотнее всего я бросился бы ему на шею от несказанной радости.

Вне себя от восторга я засуетился по комнате, не зная, что делать. Что сначала принести? Стаканы? Бутылку бургундского? (Осталась только одна.) Сигары?

Наконец я обрел дар речи:

— Но почему же вы не садитесь?! — Мигом усадил я обоих друзей в кресла.

— Почему вы все время улыбаетесь, Гиллель? — с досадой произнес Цвак.— Не думаете ли вы, что Голем — привидение? Мне кажется, вы вообще не верите ни в какого Голема?

— Я бы не поверил в него, даже если бы увидел его здесь перед собою в комнате,— невозмутимо ответил Гиллель, бросая взгляд в мою сторону. Я понял двоякий смысл его слов.

Цвак обалдело оторвался от вина:

— Показания сотен человек для вас это раз плюнуть, Гиллель? Но, Гиллель, подождите, подумайте над тем, что я вам скажу: в еврейском квартале теперь пойдет убийство за убийством! Это как пить дать. Голем ведет за собой грозную дружину.

— В скоплении похожих событий нет ничего удивительного,— возразил Гиллель. Отвечая на ходу, он подошел к окну и взглянул в переулок на лавку старьевщика.— Когда дует теплый ветер, он шевелится во всех корнях. В сладких так же, как и в горьких.

Цвак весело подмигнул мне и кивнул в сторону Гиллеля.

— Если рабби захочет, он расскажет нам о вещах, от которых волосы дыбом встанут,— вполголоса произнес он.

Шмая обернулся.

— Я не рабби, хотя и могу носить такой титул. Я всего лишь бедный архивариус в еврейской Ратуше и веду записи в книге — о живых и мертвых.

Я почувствовал скрытый смысл его слов. Даже актер-

кукловод подсознательно ощутил это. Он затих, и некоторое время никто из нас не нарушал молчания.

— Послушайте, рабби, простите, я хотел сказать господин Гиллель,— снова после паузы продолжал Цвак, и его голос стал необычно серьезным.— Я уже давно хочу спросить вас кое о чем. От вас не требуется ответа, если вы не желаете дать его или не можете...

Шмая подошел к столу и, крутя в руках бокал, посмотрел на него. Он не пил вина, может быть, ему запрещал его еврейский закон.

— Смелее, господин Цвак, спрашивайте.

— Вы что-нибудь знаете, Гиллель, о еврейском мистическом учении Каббале?

— Совсем немного.

— Я слышал, что должен сохраниться документ, по которому можно изучить Каббалу. «Зогар»...

— Да, «Зогар» — «Книга сияния».

— Вот видите, есть-таки,— взъерошился Цвак.— Не вопиющая ли это несправедливость, что сочинение, якобы обладающее ключами к пониманию Библии и райскому блаженству...

— Лишь одним ключом,— возразил ему Гиллель.

— Пусть так, единственным, но ключом. Так вот, сей труд, ввиду его небывалой редкости и ценности, снова доступен только толстосумам? В одном-единственном экземпляре, каковой к тому же торчит в Лондонском музее, как мне рассказывали, верно? И вдобавок написанный на халдейском, арамейском и еврейском — или как бишь еще на каком? Могу ли я, к примеру, когда-нибудь в жизни изучить эти языки или поехать в Лондон?

— Неужели все ваши сердечные помыслы направлены только на это? — с легкой насмешкой спросил Гиллель.

— Положа руку на сердце — нет,— сознался Цвак, сбитый с толку таким замечанием.

— Тогда вам не следует жаловаться,— сухо произнес

Гиллель.— Кто не жаждет духовности всеми клеточками своего тела, как задыхающийся — воздуха, тот не может причаститься божественных тайн.

«Несмотря ни на что книга должна была быть переведена,— промелькнуло у меня в голове.— Ведь в ней находятся все ключи к разгадке остального мира, а не только один ключ». Машинально я стал теребить рукой пагат, все еще лежавший у меня в кармане, но, прежде чем мне удалось сформулировать вопрос, Цвак уже задал его.

Гиллель снова загадочно улыбнулся:

— Любой вопрос, который может задать человек, в тот же миг есть и ответ, когда он созрел в уме.

— Вы поняли, что он хотел этим сказать? — обратился ко мне Цвак.

Я не ответил и затаил дыхание, чтобы не пропустить ни слова из сказанного Гиллелем.

— Вся жизнь,— продолжал Шмая,— есть не что иное, как созревшие вопросы, чреватые ответом, и ответы, чреватые вопросом. Кто видит в ней что-то другое — глупец.

Цвак ударил кулаком по столу:

— А как же! Вопросы, каждый раз звучащие по-иному, и ответы, которые каждый понимает по-своему.

— Именно в этом и дело,— радушно согласился Гиллель.— Лечить всех людей одной ложкой — исключительно привилегия врача. Задающий вопрос получает ответ, в котором он нуждается, иначе любое существо потеряет самого себя. Вы думаете, наши еврейские сочинения случайно написаны лишь согласными буквами? Каждый находит для самого себя скрытые гласные, только одному ему обнаруживающие определенный смысл, живое слово не должно стать мертвой догмой.

— Слова, рабби, слова! — резко возразил актер-кукловод.— Будь я последний пагат, если что-нибудь понял!

Пагат!! — слово молнией сверкнуло в моем мозгу. От страха я чуть не свалился со стула.

Гиллель старался не смотреть мне в глаза.

— «Последний пагат»? Кто знает, не зовут ли вас так на самом деле, господин Цвак! — словно издалека до моего слуха доносился голос Гиллеля. — Никогда нельзя быть до конца уверенным в своем деле. Впрочем, уж если речь зашла именно о картах, господин Цвак, вы играете в тарок?

— В тарок? А как же. С детства.

— В таком случае мне как-то непривычно слышать, что вы спрашиваете о книге, которую тысячу раз сами держали в руках.

— Я? Держал в руках? Я? — Цвак схватился за голову.

— Конечно, *вы!* Вам никогда не казалось странным, что в колоде для тарока двадцать два козыря — ровно столько же, сколько букв в еврейском алфавите? Разве наши чешские карты не изображают в избытке картинки, очевидные, как символы: дурак, смерть, сатана, Страшный суд? Вы, дорогой друг, в сущности, хотите, чтобы жизнь еще громче кричала вам ответы прямо в ухо? Что вы, разумеется, не обязаны знать, так это то, что «тарок» или «тарот» значит то же, что и еврейское «тора» — закон, или древнеегипетское «тарут» — «спрошенный», и в древнеперсидском языке слово «тариск» означает «я жду ответа». Все-таки ученым следовало бы знать про это, прежде чем утверждать, что тарок восходит к временам Карла Шестого. И так же как пагат — главный козырь в колоде, так и человек — главная фигура в своей собственной книге с картинками, свой собственный двойник. Древнееврейская буква «Алеф», сделанная в форме человека, одной рукой указующего в небо, а другой вниз, иными словами, буква показывает — «То, что наверху, то и внизу. То, что внизу, то и наверху». Потому-то я до этого сказал: кто знает, в самом ли деле вас зовут Цвак, а не Пагат. Не накликайте беды... — Гиллель при этом не сводил с меня глаз, и я почувствовал, как за его словами разверзлась бездна вечно новых значений. — Не накликайте беды, госпо-

дин Цвак! *Иначе можно попасть в темный лабиринт, из которого обратной дороги не находил никто из тех, кто не носил с собой талисмана.* Предание гласит, что однажды три человека спустились в царство тьмы, один сошел с ума, второй ослеп, и только третий — рабби бен Акиба — вернулся домой цел и невредим и сказал, что он повстречал самого себя. Конечно, скажете вы, не он один встречался с самим собой, например, Гёте, обычно на мосту или даже на лавах, перекинутых с одного берега на другой,— кто смотрел самому себе в глаза и не сошел с ума. Но в данном случае это было отражение только собственного сознания, а не истинный двойник, не то, что на арамейском называется «Гавла де-Гармей» — то есть «дух костей», о котором сказано: *«Как сошел он, во прахе, в могилу нетленный, так воскреснет в день Страшного суда».*— Взгляд Гиллеля все глубже проникал в мою душу.— Наши прабабки говорили о нем: *«Он живет высоко над землей в комнате без двери, только с одним окном, сквозь которое невозможно общаться с людьми. Кто сумеет одолеть его и очистить его душу, тот станет лучшим другом самому себе».*

Наконец, что касается тарока, вы его знаете не хуже меня: на каждого игрока выпадают разные карты, но кто вовремя использует козыри, тот выигрывает партию.

А теперь, господин Цвак, нам пора! Пойдемте, иначе вы выпьете все вино у мастера Перната и не оставите ему ни капли.

## Нищета

За моим окном разбушевалась метель. Снежинки — регулярные полки крошечных солдат в белых лохматых мундирах — неслись мимо оконного стекла друг за другом в одном и том же направлении, как будто в общей панике перед врагом, не знающим пощады. Внезапно сбившись в кучу, они по непонятной причине расшвырялись и бешено ринулись назад, пока их не атаковали с флангов, снизу и сверху новые вражеские полки, и все закончилось сумасшедшей круговертью.

Мне казалось, что прошли месяцы с тех пор, как я совсем недавно пережил загадочные события, и если бы до меня не доходили по нескольку раз на день слухи, весьма приукрашенные, о Големе, постоянно оживающие с новой силой, я бы мог подумать в минуту сомнения, что стал жертвой психического недуга.

Из пестрых арабесок, сплетенных вокруг меня событиями, резко бросался в глаза поведенный мне Цваком случай с нераскрытым до сих пор убийством так называемого «вольного каменщика».

Я не видел оснований связывать убийство с рябым Лойзой, хотя и не мог отделаться от смутного подозрения — ведь почти сразу же после того, как Прокоп той самой ночью предположил, что сквозь водосточную решетку слышались отчаянные крики, мы встретили парня в «Лойзичке». Правда, были и основания предполагать, что крик под землей с таким же успехом мог лишь померещиться ему.



Снежная метель все скрыла от моих глаз, и я видел только танцующие пряди ее круговерти. Я снова посмотрел на камею, лежавшую передо мной. Восковая модель лица Мириам должна была превосходно лечь на отливающий синевой лунный камень. Я остался доволен: это была удачная случайность, что среди моих минеральных запасов нашелся камень, необходимый мне. Матрица роговой обманки с вороненым отливом придавала камню нужный отблеск, а контуры так точно распределились, как будто природа нарочно сотворила его, чтобы стать непреходящим слепком тонкого профиля Мириам.

Поначалу я задумал вырезать камею, чтобы изобразить египетского бога Озириса, а зрелище гермафродита из книги Иббур, всплывавшее каждый раз с необычной ясностью в моей памяти, побуждало меня сделать это художественно выразительней, но мало-помалу с первых штрихов я открыл такое сходство с дочкой Шмаи Гиллеля, что отбросил прежний замысел.

Книга Иббур?!

Пораженный, отложил я стальное стило. Непостижимо, сколько событий произошло в моей жизни за такой короткий промежуток времени!

В одно мгновение я познал глубочайшую бездну одиночества, отделявшую меня от моих ближних, как человек, внезапно перенесенный в бескрайнюю пустыню.

Можно ли мне было поведать о том, что я пережил, другу, кроме Гиллеля?

Вероятно, в безмолвные часы ночного одиночества во мне воскресало воспоминание о том, что в молодые годы — начиная с раннего детства — меня до боли мучила несказанная жажда чуда, находившегося по ту сторону всего брэнного, но осуществление этой страсти закрутило меня как ураган и всей своей мощью подавило в моей душе крик радости.

Я трепетал в ожидании момента, когда снова приду в



себя и почувствую происходящее в его наполненности и пламенной живости как *настоящее*.

Но сейчас лучше не стоило! Сначала бы вкусить наслаждение — увидеть возвращение несказанности в сиянии!

Однако это в моей власти! Нужно только пройти в спальню и открыть шкатулку, где лежит книга Иббур, подарок невидимки!

Сколько времени прошло с тех пор, как я прикасался к ней, пряча туда письма Ангелины!

Глухой шум с улицы, когда порой ветер обрушивал с крыш огромные снежные сугробы, сменился полным затишьем, и снежный покров на мостовой поглощал все звуки.

Я решил продолжить работу, как вдруг до моего слуха снизу из переулка донесся звонкий стук копыт, так и казалось, что из-под них буквально брызжут искры.

Окно не открыть и не выглянуть — ледяные мышцы соединили по краям раму с каменной стеной, да и стекла были наполовину занесены снегом. Я только заметил, что Хароузек внешне довольно миролюбиво стоял рядом со старьевщиком Вассертрумом — они, должно быть, вели между собой разговор, — увидел, как росло изумление на их лицах, как они молча уставились, возможно, на карету, недоступную моему взгляду.

Первое, что пришло мне в голову, — приехал муж Ангелины. Не может быть, чтобы это была она сама! Приехать сюда, ко мне, в своей карете — на Ханпасгассе! — на глазах у всех! Чистейшее безумие! Но что я скажу ее мужу, появившись он здесь и обрушьюсь на меня, как снег на голову, со своими вопросами?

Солгать, разумеется, солгать.

Я быстро прикинул все возможности: это мог быть только ее муж. Получил анонимное письмо от Вассертрума, что она приезжает сюда на randevu, и — ей нужно было

алиби: вероятно, хотела мне заказать камео или что-нибудь такое. Вот! Бешеный стук в мою дверь — передо мной предстала Ангелина.

Она не в силах была произнести ни слова, но выражение ее лица сказало мне все: ей не нужно было больше скрываться. Песенка была спета.

Однако я противился этой догадке. Нет, я не был готов поверить тому, что чувство, что я могу ей помочь, должно было меня обмануть.

Я подвел ее к креслу. Молча погладил ее по голове, и она, смертельно усталая, как ребенок, уткнулась лицом в мою грудь.

Мы слушали, как потрескивали горящие поленья в печке, и смотрели, как мерцал на половицах алый отблеск пламени. Загорался и гас, загорался и гас... Загорался и гас...

«Так где сердечко из коралла?...» — звучало в моей душе. Я вскочил — где я? Сколько времени она уже сидит здесь?

И стал спрашивать — осторожно, чуть слышно, чтобы не испугать ее и не разбередить свежих ран.

По кусочкам узнавал то, что мне было нужно, и все встало на свои места, как в мозаике.

— Ваш муж знает?

— Нет, еще не знает, он уехал.

Значит, речь шла о жизни доктора Савиоли; Хароузек был прав в своих предположениях. А посему речь идет о жизни Савиоли, а не ее жизни, ведь она была здесь. Я понял — она больше не собирается скрываться.

Вассертрум вторично пожаловал к доктору Савиоли. Угрозой и силой пробился к постели больного.

А дальше! Дальше! Что ему от него надо?

Что ему надо? Он наполовину догадывается, наполовину знает: ему надо, чтобы... чтобы... чтобы доктор Савиоли наложил на себя руки.

Она тоже теперь знала о причинах дикой, безумной ненависти Вассертрума:

— Доктор Савиоли довел однажды его сына окулиста Вассори до самоубийства.

Тут же с быстротой молнии у меня мелькнула мысль: бежать вниз, раскрыть тайну старьевщику, что удар в спину нанес *Хароузек* — а не Савиоли, бывший только орудием в его руках. «Предательство! Предательство! — громко звучало в моем мозгу.— Таким путем ты хочешь, чтобы этот мерзавец отомстил бедному чахоточному Хароузеку, который думал помочь тебе и ей». И это резало меня по живому. Потом мысленно я пришел к хладнокровному и спокойному решению: «Глупец! Все в твоих руках! Нужно всего лишь взять напильник, он там, на столе, сбежать вниз и всадить старьевщику в горло, чтобы острие вышло у затылка».

Моя душа издала радостный крик благодарности Богу.

Я выпрашивал дальше:

— А доктор Савиоли?

Несомненно, он покончит с собой, если она не спасет его. Сестры милосердия не сводят с него глаз, усыпляют его морфием, но если он, может быть, внезапно проснется — может быть, именно сейчас — и... и... нет, нет, она должна ехать, нельзя терять ни секунды... она напишет своему мужу, все ему объяснит — пусть забирает ее ребенка, но Савиоли она спасет, так как этим выбьет из рук Вассертрума единственное оружие, которым он угрожает.

Она сама откроет тайну, прежде чем он успеет ее разгласить.

— Вы не поступите так, Ангелина! — воскликнул я и подумал о напильнике, и голос мой прервался в восторженной радости от сознания своей власти.

Ангелина пыталась вырваться, но я крепко держал ее.

— Только об одном прошу: подумайте, неужели ваш муж безоглядно поверит старьевщику?

— Но у Вассертрума есть доказательства, вероятно,

мои письма, может быть, даже фотография — все, что спрятано в письменном столе рядом, прямо в студии.

Письма? Фотография? Письменный стол? Я больше не сознавал, что делаю,— я прижал Ангелину к своей груди и поцеловал ее. В губы, лоб, глаза.

Ее белокурые волосы упали мне на лицо словно золотистая вуаль.

Потом я взял ее за тонкие руки и, захлебываясь от спешки, рассказал, что смертельный враг Вассертрума — бедный чешский студент — перенес письма и все остальное в безопасное место, и они, находясь в моем распоряжении, надежно спрятаны.

Смеясь и плача навзрыд, Ангелина бросилась мне на шею. Поцеловала меня. Подбежала к двери. Снова вернулась и снова поцеловала.

Потом она исчезла.

Я стоял как громом пораженный и чувствовал еще на своем лице ее дыхание.

Послышался грохот колес по мостовой и бешеный галоп лошадей.

Через минуту все стихло. Как в склепе.

И в моей душе.

Вдруг у меня за спиной скрипнула дверь, и в комнате появился Хароузек.

— Простите, господин Пернат, мне пришлось долго стучать, но вы, кажется, не слышали.

Я только молча кивнул.

— Надеюсь, вы не считаете, что я пошел на мировую с Вассертрумом, когда увидели, как я с ним беседую.— Злорадная усмешка Хароузека дала мне понять, что он лишь мрачно пошутил.— Ибо вам следует знать: мне улыбнулось счастье. Мерзавец там внизу, мастер Пернат, начал испытывать ко мне любовь. Чудная это штука, голос крови,— добавил он тихо, почти про себя.

Я не понял, что он хотел этим сказать, и допускал, что чего-то недослышал. Пережитое волнение еще давало о себе знать.

— Он собирался подарить мне пальто,— возбужденно продолжал Хароузек.— Я, естественно, поблагодарил его и отказался. Меня согревает моя собственная шкура. И тогда он стал навязывать мне деньги.

«И вы не отказались?» — чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык.

Щеки студента пошли круглыми красными пятнами.

— От денег я, разумеется, не отказался.

В голове моей творился сплошной кавардак.

— Не отказались? — заикаясь, спросил я.

— Никогда бы не подумал, что на земле можно испытать такую чистую радость! — Хароузек на миг остановился и скорчил гримасу.— Разве это не возвышенное чувство, когда созерцаешь, как в хозяйстве природы повсюду мудро и расчетливо управляют бережливые длани «провидения»? — Он рассуждал как пастор и при этом позвякивал деньгами в кармане.— Нет более благородной цели, чем употребить богатство, вверенное мне рукою милосердия, когда-нибудь до последней копейки...

Неужели напился? Или рехнулся?

— Дьявол расхохотался,— Хароузек неожиданно сменил тон,— когда Вассертрум сам расплатился за лекарство. Вы не находите?

Я стал догадываться, что скрывалось за словами Хароузекка, и меня испугал его лихорадочный взгляд.

— Впрочем, оставим это на потом, мастер Пернат. Сперва закончим текущие дела. Женщина, только что ушедшая, это все-таки была «она»? Для чего же ей понадобилось приезжать сюда в открытую?

Я рассказал Хароузеку, что произошло.

— В руках Вассертрума определенно нет никаких улик,— обрадованно прервал он меня.— Иначе сегодня

утром он не пришел бы снова в студию с обыском. Странно, что вы его не слышали. Он околачивался там чуть ли не час.

Я поразился, откуда он мог так хорошо все знать, и спросил его об этом.

— Позвольте? — Его жест объяснил вопрос, он взял сигарету со стола, закурил и продолжал: — Видите ли, если вы сейчас откроете дверь, начнется сквозняк, он идет с лестничной клетки и выдувает табачный дым туда. Может быть, это единственный закон природы, хорошо известный господину Вассертруму, он на всякий случай в наружной стене студии — как вы знаете, дом принадлежит ему — незаметно проделал небольшое отверстие для вентиляции и в этой отдушине прикрепил красный флажок. Если кто-нибудь входит или выходит из комнаты, иначе говоря, открывает дверь, Вассертрум замечает это внизу по резкому колебанию флажка. Разумеется, знаю об этом и я, — сухо добавил Хароузек. — Я хорошо могу видеть флажок из подвальной норы, где мне, по милости судьбы, удалось приютиться. Правда, милая шутка с вентиляцией — открытие почтенных прадедов, но мне оно тоже стало известно давно.

— За что вы так нечеловечески ненавидите его, если следите за каждым его шагом? И к тому же с давних пор, как вы сказали! — вставил я.

— Ненавижу? — Хароузек судорожно рассмеялся. — Ненавижу? Ненависть — не то выражение. Слово, которое могло бы передать мое чувство, нужно сначала сотворить. Точнее говоря, я ненавижу вовсе не *его*. Я ненавижу его племя. Понимаете? Я чую как дикий зверь, если в жилах человека течет хоть капля его крови, и... — он сжал зубы, — это иногда происходит в здешнем гетто...

Не в силах от волнения продолжать разговор, он подбежал к окну и уставился на улицу. Я услышал, как он задыхался. Некоторое время мы оба молчали.



— Эй, что там такое? — Он внезапно выпрямился и резко помахал мне рукой. — Быстрее, быстрее! У вас есть бинокль или что-нибудь вроде него?

Мы осторожно смотрели вниз сквозь просвет между занавесками.

Перед входом в лавку старьевщика стоял глухонемой Яромир и, насколько мы могли судить по его жестам, предлагал Вассертруму купить небольшой блестящий предмет, наполовину спрятанный в его руке. Из-за чего Вассертрум набросился на него как ястреб и затем скрылся.

Вскоре после этого он — смертельно бледный — снова выскочил и схватил Яромира за грудки: завязалась короткая потасовка. Вассертрум быстро отпустил его и стал раздумывать. Он яростно кусал свою щелястую губу. Бросил озабоченный взгляд в нашу сторону и спокойно потащил Яромира под руку в свою лавку.

Вероятно, мы прождали с четверть часа: казалось, они никак не могли сторговаться.

Наконец с довольным видом из лавки вышел глухонемой и скрылся из виду.

— Что произошло, как по-вашему? — спросил я. — Кажется, ничего существенного. Наверное, бедняга хотел заложить где-то выпрошенную вещь.

Студент не ответил и молча уселся за стол.

Видимо, он тоже не придал значения случившемуся, ибо после паузы начал с того, на чем остановился:

— Да. Так вот, я сказал, что ненавижу его племя. Прервите меня, мастер Пернат, если я снова ожесточусь. Постараюсь быть спокойным. Нельзя так разбазаривать лучшие порывы души. Иначе потом у меня наступит разочарование. Человек бережно должен взвешивать разумные слова, а не разбрасывать их с пафосом, как шлюха или поэт. С сотворения мира никому не пришло бы в голову от горя «заламывать руки», если бы актеры не придумали эти жесты как особо «пластичные»!..

Я понял, что он с умыслом говорил быстро и не оставаясь, чтобы обрести душевный покой.

Это ему не удавалось. В волнении он метался по комнате, хватая что ни попадя, и в рассеянности ставил взятые вещи на место.

Затем снова с бухты-барахты вернулся к прежней теме:

— Его племя я обнаруживаю в человеке по мельчайшим произвольным жестам. Я знаю детей, похожих на него, считающихся его детьми. Но все-таки они из другого племени, меня нельзя провести. Долгие годы я не знал, что доктор Вассори приходится ему сыном, но — мне хочется сказать — я это чувал.

Уже мальчишкой, когда я еще не мог догадаться, какое отношение имеет ко мне Вассертрум, — Хароузек на миг остановил на мне испытующий взгляд, — я овладел этим даром. По мне шагали, меня пинали ногами, били так, что на теле живого места не оставалось, которое не знало бы, что такое страшная боль, меня заставляли страдать от голода и жажды, пока я не стал полубезумным и не начал есть сырую землю, но никогда я не мог ненавидеть того, кто меня истязал. Просто не мог. Во мне не было больше места для ненависти. Понимаете? И тем не менее все мое существо было пропитано ею.

Вассертрум никогда даже пальцем не тронул меня — я хочу этим сказать, что он ни разу меня не ударил и не повалил и даже ни разу не обругал по-своему меня, уличного сорванца: я хорошо это знал, однако все было нацелено на то, чтобы дать созреть во мне ненависти и злобе против него. Только против него!

Невероятно, как я, несмотря на это, никогда не сыграл с ним злой шутки в детстве. Если над ним подшучивали другие, я не принимал участия. Но был способен часами стоять в подворотне или, спрятавшись в подъезде, неподвижно пялить глаза в дверную щель, пока у меня не темнело в глазах от необъяснимого чувства ненависти.

Мне думается, в то время во мне пробудился дар ясно-видения, тотчас начинавший действовать, когда я соприкасался с существами или просто вещами, с которыми общался он. Должно быть, я бессознательно изучил каждое его движение: его манеру носить сюртук, как он берет вещи, кашляет и пьет, и все это я тогда по-разному заучивал *наизусть*, произвольно, пока новая привычка не въелась в мою душу так, что я везде мог узнать следы его присутствия с первого взгляда, с безошибочной уверенностью определяя любой предмет как его собственность.

Позднее такая привычка порою переходила в манию: я отшвыривал самую безобидную вещь только потому, что был снедаем предположением, что ее могла касаться его рука. Остальные предметы снова мне начинали нравиться, я любил их словно друзей, желавших ему зла...

Хароузек на мгновение умолк. Я видел, что он уставился в пространство отсутствующим взглядом. Его пальцы машинально поглаживали напильник, лежавший на столе.

— Когда позже два-три сочувствующих наставника собрали для меня деньги и я начал изучать философию и медицину — и походя учился мыслить сам,— я постепенно стал понимать, что такое ненависть. Мне кажется, мы только то способны так глубоко ненавидеть, что составляет часть нас самих.

И как я позднее открыл, узнавая все не спеша, кем была моя мать и... и... кто она теперь, если... если она еще жива, и что моя собственная плоть,— он отвернулся, чтобы я не увидел его лица,— полностью была *его* мерзкой плотью... Ну вот, Пернат, почему бы вам не знать об этом: *он — мой отец!* Тогда мне стало ясно, где корень моей ненависти... Иногда мне даже кажется, что существует таинственная связь с тем, что я болен чахоткой и мне приходится харкать кровью: мое тело защищается от всего, что пришло от него, и с отвращением отвергает его кровь от себя.

Зачастую моим конвоиром в снах была ненависть, и, чтобы утешиться, я представлял мысленно всевозможные пытки, которым мог подвергать «его», но всегда отказывался от них сам, потому что они оставляли во мне пресный привкус несбыточного.

Если я размышлял о самом себе и должен был удивляться тому, что на свете нет никого и ничего, к чему бы я испытывал антипатию, кроме «него» и его племени, мною не раз овладевало противоречивое чувство: я мог бы стать тем, что принято называть «добрым человеком». Но, к счастью, это не так. Я вам говорил уже — во мне нет больше места ничему.

Только не подумайте, что меня ожесточила трагическая судьба (что случилось с моей матерью, я узнал гораздо позднее): я пережил один счастливый день, надолго затмивший собою все, что выпадает обычно на счастье простому смертному. Не знаю, знакома ли вам такая подлинная душевная, пламенная набожность — до тех пор я тоже об этом не догадывался, — но в тот день, когда Вассори покончил с собой, я стоял внизу в лавке и видел, как «он» получил об этом известие: принял его «тупо», как должен был бы принять на веру профан, не ведающий про истинный театр жизни. Больше часа оставался он безучастен — его кроваво-красная губа на самую малость поднялась выше, чем обычно, и взгляд какой-то такой... такой... ну, такой... как-то странно повернутый в себя. Тогда-то я и ощутил запах ладана от взмахнувшего крылами архангела. Знаете статую скорбящей Богоматери на фронтоне Тынского храма? Там пал я ниц, и сумрак церковного притвора объял мою душу...

Едва я посмотрел в большие печальные глаза Хароузек, полные слез, мне тут же вспомнились слова Гиллеля о неисповедимости глухих тропинок, которыми шагают братья смерти.

Хароузек продолжал:

— Внешние обстоятельства, «оправдывающие» мою ненависть или понятные официально оплачиваемому судье, возможно, вам будут неинтересны: факты всегда выглядят как верстовые столбы, но и они все-таки лишь пустая скорлупа. Факты — холостые выстрелы в потолок пробками из бутылок шампанского, производимые лишь хвастунами и принимаемые за суть пирушки только придурками. Всевозможными дьявольскими средствами, привычными для подобных Вассертруму, он охмурял мою мать, чтобы она покорила ему, — если это не выглядело гораздо хуже. И потом — ну да, — а потом он продал ее в публичный дом, что было не так уж трудно сделать, если ходишь в компаньонах с полицией. Но не потому, что она ему надоела, о нет! Мне известно пристанище его сердца. В день, когда он ее продал, он в ужасе осознал, как на самом деле горячо ее любил. Подобные ему, видимо, действуют под влиянием абсурда, но всегда одинаково. Алчность пробуждается в нем, когда кто-то приходит и покупает в его лавке что-то за высокую цену: он лишь ощущает неизбежность «расплаты». Охотнее всего он подавил бы в себе понятие «иметь» и мог бы придумать себе идеал, чтобы когда-нибудь растворить его в абстрактном понятии «собственность».

И тогда до размеров гигантской горы в нем вырос страх оттого, что он «больше не верит самому себе», что в любви надо отдавать не *по долгу*, а *по доброй воле*: почувствовал в себе присутствие того незримого, что сковывало его волю, или то, о чем он думает, что должно быть его волей. Таково было начало. Что случилось позже, произошло автоматически. Так щука вынуждена волей-неволей автоматически щелкать зубами, если в подходящий момент мимо нее проплывает блестящий предмет.

Продажа моей матери была для Вассертрума лишь естественным следствием. Удовлетворены были дремавшие в нем качества: жажда золота и извращенное наслаждение в

самоедстве. Простите, мастер Пернат,— голос Хароузeka прозвучал внезапно так сухо и трезво, что я испугался.— Простите, что я без умолку тяну эту невероятно рассудочную болтовню, но еще в университете мне попадалось под руку множество глупейших книг, невольно приходится впадать в дурацкую форму изложения.

Я заставил себя улыбнуться, хорошо понимая, что он еле сдерживает слезы.

Необходимо помочь ему как-нибудь, решил я, по крайней мере облегчить его беспросветную нужду, насколько это было в моих силах. Незаметно я достал из комода сотню гульденов банкнотами, остававшихся у меня дома, и положил их в карман.

— Если потом когда-нибудь вам больше повезет и вы займетесь своей профессией врача, покой снизойдет на вашу душу, господин Хароузек,— сказал я, чтобы перевести разговор в спокойное русло.— Скоро вы получите диплом?

— Скоро. Я в долгу перед своими благодетелями. Цели нет никакой, ибо дни мои сочтены.

Я хотел, как обычно, возразить, что он смотрит на мир сквозь черные очки, но он с улыбкой опередил меня:

— Это к лучшему. К тому же нет никакого удовольствия разыгрывать из себя лекаря-шута, а напоследок еще удостоиться и дворянского титула в качестве дипломированного клеветника. С другой стороны,— добавил он со свойственным ему черным юмором,— к сожалению, раз и навсегда можно пресечь всякую мою полезную деятельность.— Он взялся за шляпу.— Мне не хочется больше мешать вам. Или что-нибудь можно еще добавить по делу Савиоли? Не думаю. Во всяком случае, дайте мне знать, если проводаете что-нибудь новенькое. Лучше всего повесить зеркало здесь у окна в знак того, что мне следует прийти. Приходить в подвал ко мне вам нельзя ни в коем случае: Вассертрум тут же заподозрит, что мы заодно. Впрочем, весьма

любопытно узнать, что он теперь собирается делать, пронюхав, что к вам пожаловала женщина. Скажите ему просто, что она принесла починить ожерелье, и если будет назойлив, разыграйте взбесившегося мужчину...

Никак не удавалось найти удобный повод предложить Хароузку банкноты; поэтому я снова взял восковую формовку с окна и сказал:

— Пойдемте, я провожу вас вниз. Меня ждет Гиллель,— солгал я.

Хароузек оторопел:

— Вы с ним дружите?

— Немного. Вы его знаете? Или, может быть, тоже не доверяете ему? — Я невольно улыбнулся.

— Боже упаси!

— Почему вы сказали это так серьезно?

Хароузек помедлил с ответом и начал размышлять вслух:

— Сам не знаю почему. Должно быть, как-то неосознанно. Когда бы я ни встретил его на улице, мне всегда хочется сойти на мостовую и преклонить перед ним колени как перед священником, держащим просфору. Видите, мастер Пернат, перед вами человек, который — полная противоположность Вассертруму. Например, у христиан, как всегда тоже напичканных ложными слухами, он слывет скаредом и подпольным миллионером, хотя и беден как церковная крыса.

— Беден? — в испуге вскочил я.

— Конечно, и, возможно, еще беднее, чем я. Слово «приобретать», думаю, он вообще знает только по книгам, но когда он в первый день месяца возвращается из Ратуши, еврейские нищие бегут перед ним, потому что знают, что самым первым из них он сунет незаметно в руку все свое жалкое жалованье, а через два-три дня будет сам голодать вместе с дочерью. Если верно, как утверждает древняя талмудистская легенда, что из двенадцати колен израилевых десять прокляты, а два — святы, Гиллель — воплощение

этих двух колен, а Вассертрум — десять остальных, вместе взятых. Вы еще никогда не замечали, как расцветает всеми цветами радуги Вассертрум, если мимо него проходит Гиллель? Занятно, скажу я вам! Видите ли, такое племя *невозможно* скрещивать ни с каким другим. Тогда бы дети рождались мертвыми. При условии, если мать не умрет от ужаса еще раньше. Впрочем, Гиллель — единственный человек, которого Вассертрум избегает — он боится его как огня. Вероятно, потому, что Гиллель для него означает непостижимость, полную неразгаданность. Может быть даже, он чует в нем каббалиста.

Мы уже спустились с лестницы.

— Думаете, каббалисты еще не перевелись в наши дни — способен вообще кто-нибудь разбираться в Каббале? — спросил я, ожидая быстрого ответа, но он, казалось, не слышал меня.

Я переспросил.

Он резко обернулся и показал на дверь у лестничной клетки, обитую досками от ящиков.

— У вас теперь новые соседи, правда, еврейская, но бедная семья полоумного музыканта Нефтали Шафранка с дочерью, зятем и внучками. Когда стемнеет и он остается один с девчухами, на него находит дурь: он их связывает за большие пальцы, чтобы не убежали, втискивает в старую клетку для кур и наставляет их в «пенин», как он это называет, чтобы позднее они сами могли зарабатывать на кусок хлеба. Иначе говоря, он их учит преурацким песням, существующим на немецком языке, по отрывкам, подслушанным им где-нибудь. В душевном помрачении он принимает их за прусские военные гимны или за что-то в этом роде.

В самом деле, за дверью еле слышно звучала странная мелодия. Смычок на высоких нотах непрерывно пилил в одном и том же тоне мотив уличной песенки, а два тонюсеньких детских голоса пели:



Дама Шпик,  
Дама Шпок,  
Дама Жо-бемоль —  
Стоят они молчками  
И чешут языками.

Это было так нелепо и комично, что я невольно рассмеялся.

— Зять Шафранека — его жена торгует на яичном базаре огуречным соком, который она разливает школьникам в рюмочки, — целыми днями мотается по канцеляриям, — мрачно продолжал Хароузек, — и выпрашивает старые почтовые марки. Потом он их сортирует, и если обнаружит среди них те, у которых только по одному краю остался след печати, он кладет марки друг на друга и разрезает. Нештемпелеванные половинки склеивает и продает как новые. Поначалу дело процветало, и в день он, бывало, выручал почти гульден. Но в конце концов большие еврейские дельцы в Праге про это пронюхали и сами взялись снимать с гешефта сливки.

— Хароузек, а вы бы не помогли человеку в беде, случись у вас в кармане лишние деньги? — быстро спросил я. Мы остановились перед квартирой Гиллея, и я постучался.

— Неужели вы меня считаете таким подлецом, раз могли подумать, что я бы не сделал этого? — огорошенный, ответил он вопросом на вопрос.

Послышались шаги приближавшейся Мириам, я ждал, пока она откроет, затем моя рука с банкнотами юркнула Хароузеку в карман.

— Нет, господин Хароузек, но *вам бы пришлось считать меня таковым, если бы я не поступил так.*

Прежде чем он успел что-то возразить, я пожал ему руку, и дверь за моей спиной отворилась. Здороваясь с Мириам, я краем глаза наблюдал, что он собирается делать.

Хароузек немного постоял, затем чуть слышно всхлипнул и не спеша пошел вниз по лестнице, нащупывая ступеньки, как человек, вынужденный держаться за перила.

Так получилось, что я пришел домой к Гиллелю первый раз.

Комната выглядела строго, как тюремная камера. Пол тщательно подметен и посыпан белым песком. Из мебели только два стула, стол и комод. Деревянные полки справа и слева на стенах.

Мириам сидела напротив меня у окна, а я лепил свою модель.

— Неужели надо видеть лицо перед собой, чтобы уловить сходство? — робко спросила она лишь для того, чтобы нарушить молчание.

Мы боялись взглянуть друг на друга. Мириам не знала куда девать глаза от муки и стыда за жалкую обстановку в комнате, а мои щеки полыхали огнем, когда я в душе попрекал себя, что до сих пор не удосужился узнать, как им с отцом живет.

Но все-таки мне что-то надо было отвечать!

— Не для того, чтобы схватить сходство, сколько сравнить, соответствует ли истине копия и внутренне.— Отвечая, я чувствовал, как в корне неверно было все, что я говорил.

Многие годы я тупо повторял с чужого голоса и следовал ложным аксиомам художника, что-де необходимо изучать внешнюю натуру, чтобы уметь создавать художественные вещи; и только Гиллель разбудил меня в ту ночь, это стало для меня днем рождения внутреннего зрения, подлинного умения видеть с закрытыми глазами, тотчас исчезающего, если открыть веки,— дар, о котором все думают, что владеют им, но которым на самом деле из миллиона не владел никто.

Как только я не рассуждал о возможности проверить

истинность путеводной нити духовного видения примитивными средствами заурядного зрения!

Мириам, казалось, думала так же. На лице ее было удивление.

— Вам не следует понимать меня так дословно,— попытался оправдаться я.

Полная внимания, она слушала меня, пока я углублял форму стилем.

— Наверное, бесконечно трудно потом все в точности перенести на камень?

— Это только техническая сторона дела. Нечто похожее. Мы молчали.

— Можно взглянуть на камею, когда она будет готова? — спросила она.

— Я же делаю ее для вас, Мириам.

— Нет-нет, так не пойдет... так...— Я увидел, как она беспокойно задвигала руками.

— Неужели раз в жизни вам не хотелось бы принять от меня подобную безделицу? — нетерпеливо прервал я ее.— Мне хочется, я имею право сделать для вас больше.

Она резко отвернулась.

Что же я сказал! Должно быть, глубоко обидел ее. Это прозвучало так, словно я намекал на ее бедность.

Как мне оправдаться перед ней? Не будет ли тогда еще хуже?

Я предпринял первую попытку.

— Выслушайте меня спокойно, Мириам! Прошу вас. Я обязан вашему отцу бесконечно многим, вы и представить не можете...

Она недоверчиво взглянула на меня: видимо, не понимала, о чем я.

— Да-да! Бесконечно многим. Больше, чем жизнью.

— Потому что он помог вам, когда вы потеряли сознание? Но это же так естественно.

Я понимал, что она не знает, какой союз мы заключили с ее отцом. И осторожно проверял, насколько мне можно быть откровенным, чтобы не выболтать то, что не сказал ей Гиллель.

— Думается, намного важнее, чем физическая помощь, помощь духовная. Я говорю о помощи, озаренной духовным влиянием людей друг на друга. Вам понятно, Мириам, о чем я хочу сказать? Кого-то можно исцелить и духовно, не только физически, Мириам.

— И это...

— Конечно, это сделал ваш отец! — Я взял ее за руку.— Неужели вы не понимаете, что я от всего сердца захотел доставить радость если уж не ему, то все-таки кому-то, кто близок ему так, как вы? Хоть самую малость, поверьте мне! Неужели у вас нет никакого желания, которое я мог бы для вас исполнить?

Она покачала головой:

— Вам кажется, что я чувствую себя здесь несчастной?

— Конечно, нет. Но, может быть, вас мучают порою какие-то заботы, от которых я сумел бы вас избавить? Вы обязаны,— слышите! — обязаны позволить мне участвовать в этом! Почему вы с отцом живете здесь, в этом темном и мрачном переулке, когда могли бы жить в лучшем месте? Вы еще так молоды, Мириам, а ...

— Но вы же сами здесь живете, господин Пернат,— усмехнувшись, перебила она меня.— Чем же вас очаровал этот дом?

Я растерялся. Конечно, конечно, все было так. Почему я, собственно, жил здесь? Я не мог объяснить, что меня удерживало в этом доме, повторял я в рассеянности про себя. Я не способен был найти объяснения и на какое-то мгновение совсем позабыл, где нахожусь. Затем вдруг я очутился где-то высоко наверху — в саду, вдыхал волшебный аромат цветущей бузины, смотрел вниз на город, думал о случившемся.

— Я причинила вам боль? Или чем-то огорчила вас? — совсем издали-издали долетел до меня голос Мириам.

Она склонилась надо мной и в испуге стала изучать мое лицо.

Должно быть, я очень долго сидел не двигаясь, что крайне озадачило ее.

Какое-то время что-то колебалось во мне, затем вдруг вырвалось могучим потоком, переполнило меня, и я излил Мириам всю свою душу до дна.

Как доброму старому другу, с которым я прожил всю жизнь и перед которым у меня не было никаких тайн, поведал ей, как сюда попал и каким образом из рассказа Цвака узнал, что в молодости сошел с ума и не мог вспомнить своего прошлого, как в последнее время во мне воскресли образы, все чаще и чаще пускающие корни в прошедшие дни, и что меня охватывает дрожь перед мгновением, когда моя память воскреснет целиком и меня снова отбросит в небытие.

Я только скрыл от нее то, что связывало меня с ее отцом, — о своих переживаниях в подземном ходе и прочем.

Она придвинулась вплотную ко мне и, затаив дыхание, слушала меня с глубоким состраданием, несказанно окрылявшим меня.

Наконец-то я нашел человека, которому могу высказаться, если одиночество начнет угнетать мою душу. Конечно, хорошо, что тут еще был Гиллель, но я смотрел на него как на человека не от мира сего, появлявшегося и исчезающего подобно свету, о котором я ничего не знал, хотя и стремился к нему.

Я исповедовался ей, и она поняла меня. Она глядела на него так же, как я, несмотря на то, что он был ее отцом.

Он проникся бесконечной любовью к ней, а она — к нему.

— И все же меня от него отделяет как бы прозрачная стеклянная стена, — доверительно сообщила она, — которую

я не могу разбить. Во всяком случае, я считаю, что это так. Когда в детстве я его видела во сне стоящим у моей постели, он всегда был в одеянии первосвященника: на груди драгоценная скрижаль Моисея с двенадцатью камнями, а от висков исходят голубые сверкающие лучи. Мне кажется, любовь его рода, которая попирает смерть, и она так велика, что вряд ли мы способны ее понять. То же самое всегда говорила и моя мать, когда мы тайком шептались о нем...

Внезапно она вздрогнула и задрожала всем телом. Я хотел вскочить, но она усадила меня на место.

— Успокойтесь, это ничего. Одно лишь воспоминание. Когда моя мать умерла — только я знаю, как он ее любил, я в то время была еще маленькой и думала, что умру от горя. И я побежала к нему и вцепилась в его скюртук, хотела закричать, но не смогла, потому что все во мне оборвалось и... и тогда... у меня мурашки бегут по спине, когда я об этом думаю... Тогда он с улыбкой взглянул на меня, поцеловал в лоб и провел рукой по моим глазам... И с того мгновения до сих пор горе, что я потеряла мать, точно с корнем вырвали из меня. Ни единой слезинки не пролила я, когда ее хоронили; я видела солнце словно простертую лучистую десницу Господа Бога на небе, и меня удивляло, почему люди плакали. Мой отец шел за гробом рядом со мной, и когда я смотрела на него снизу, он каждый раз едва заметно улыбался, и я чувствовала, как ужас охватывает людей, когда они это видели.

— И вы счастливы, Мириам? По-настоящему счастливы? Не является ли одновременно нечто страшное при мысли, что ваш отец на голову выше любого человека? — спросил я чуть слышно.

— Пока я живу беспечно, как в сладком сне.— Мириам весело тряхнула головой.— Когда вы раньше спросили, господин Пернат, нет ли у меня каких забот и почему мы живем в этом переулке, я чуть не рассмеялась. Разве

природа прекрасна? Ну, конечно, травка зеленеет, солнышко блестит, но все это я могу представить более прекрасным, если закрою глаза. Неужели, чтобы видеть, я должна сидеть на лугу? А мало-мальская нужда и — и голод? Все это в тысячу раз окупается надеждой и ожиданием.

— Ожиданием? — удивился я.

— Ожиданием чуда. Вам такое знакомо? Нет? Ну, тогда вы совсем-совсем несчастный человек. Чтобы об этом так мало знать?! Видите, это тоже одна из причин, почему я никогда не выхожу из дома и ни с кем не встречаюсь. Давным-давно у меня были подруги, еврейки, разумеется, как и я, но мы всегда говорили на разных языках, они не понимали меня, а я — их. Если я заводила разговор о чуде, они сперва думали, что я шучу, но когда заметили, насколько для меня это серьезно и что под чудом я понимаю тоже не то, что очкарики-немцы — естественный рост травы и тому подобное, но скорее нечто противоположное, — они в лучшем случае принимали меня за сумасшедшую. Но я была довольно гибка в рассуждениях, изучила древнееврейский и арамейский языки, могла читать «таргумим» \* и «мидрашим» \*\* и тому подобное. Наконец они нашли слово, ничего вообще не выражающее, — они назвали меня «сумасбродкой».

Когда я им пыталась объяснить, что важным — существенным — в Библии для меня, как и в других священных текстах, является чудо, и только чудо, а не прописи морали и этики, способные привести к чуду скрытыми путями, они отвечали мне банальными фразами, потому что боялись откровенно признаться, что из религиозных писаний они верили лишь в то, что с таким же успехом можно было бы найти в гражданском кодексе. Стоило им услышать слово «чудо», как им уже становилось не по себе. Они признавались, что у них уходит почва из-под ног.

\* переводы (арамейск.).

\*\* комментарии (др.-евр.).

Но ведь что может быть прекрасней, когда почва из-под ног уходит!

Мир существует для того, чтобы представиться нам погибшим, услышала я когда-то от отца,— тогда и только тогда и начинается жизнь. Не знаю, что он подразумевал под словом «жизнь», но мне иногда кажется, что однажды я проснусь. Я даже не могу представить, в каком состоянии буду находиться. Но всегда думаю, что этому должно предшествовать чудо.

«Неужели ты уже испытала нечто такое, что то и дело ожидаешь этого?» — часто спрашивали меня подруги, и, когда я признавалась, что нет, они приходили в восторг и чувствовали себя победителями. Скажите, господин Пернат, а вы бы смогли понять такую душу? Уж если бы я все-таки и испытала чудо, даже если вот хоть настолечко крошечное,— глаза Мириам заблестели,— я бы ни за что не сказала им...

Я услышал, как ее голос почти заглушили слезы радости.

— ... Но вы поймете меня: часто, неделями и даже месяцами,— Мириам перешла на шепот,— мы жили только ожиданием чуда. Когда в доме не было ни куска хлеба, тогда я знала — час настал! Я усаживалась здесь и долго ждала, пока не начинала задыхаться от бешеного сердцебиения. А потом — а потом как будто меня что-то звало внезапно. Я спускалась вниз и бежала по улицам до изнеможения, быстро, как могла, чтобы вовремя поспеть домой, пока не вернулся отец. И... и каждый раз находила деньги. Когда меньше, когда больше, но всегда столько, что можно было купить самое необходимое. Часто посредине улицы валялся гульден, я издали видела, как он сверкает, люди наступали на него, теряли равновесие, поскользнувшись на нем, но никто его не замечал. Это делало меня иногда такой озорной, что я совсем уже не показывала носа на улицу, но прямо под боком, на



кухне, как ребенок, искала на полу, не упали ли с неба деньги или кусок хлеба.

Я подумал о своем и невольно улыбнулся.

Мириам заметила это.

— Не смейтесь, господин Пернат,— попросила она.— Поверьте мне, я знаю, что эти чудеса дадут ростки и что однажды...

— Но я ведь не смеюсь, Мириам! — успокоил я девушку.— Как вам такое могло прийти в голову! Я бесконечно счастлив оттого, что вы не такая, как все, как те, кто для каждого следствия задним числом находит обычную причину и встает на дыбы,— *мы* в таких случаях восклицаем: «Спасибо Тебе, Господи!» — если однажды находим что-то иное.

Мириам положила свою руку на мою.

— Правда, господин Пернат, вы больше никогда не скажете, что хотите помочь мне — или нам? Теперь, когда вы знаете, что могли бы лишить меня возможности испытать чудо, если бы так поступили?

Я обещал ей. Но в душе сделал оговорку.

Дверь отворилась, и вошел Гиллель.

Мириам обняла его, и он поздоровался со мной. Подружески тепло, но снова на «вы».

Казалось, им овладело едва заметное чувство усталости или растерянности. А может, я ошибался?

Может, наступившие сумерки заполнили комнату?

— Вы пришли, конечно, просить у меня совета,— начал он, когда Мириам оставила нас одних,— в деле, касающемся незнакомой женщины?..— Удивленный, я пытался прервать его, но он не дал мне говорить.— Я узнал об этом от студента Хароузeka. Мы беседовали с ним на улице, потому что он показался мне каким-то странным. Он все мне рассказал. Без утайки, точно на исповеди. И даже то, что вы дали ему деньги.— Он пытливо взглянул на меня, и каждое его слово звучало в высшей степени необычно, но я не

понимал, куда он клонит.— Конечно, благодаря этому с неба прольются две-три капли счастья и... и в данном... случае это, может быть, даже не повредит, но...— Он на миг задумался.— Но порою причиняет себе и другим только боль. Помогать вовсе не так уж легко, как вы думаете, мой дорогой друг! Иначе весьма и весьма просто было бы спасти мир. Как вы думаете?

— А вы разве тоже не подаете бедным? И часто все, что у вас есть, Гиллель? — спросил я.

Он с улыбкой покачал головой.

— Мне кажется, вы за ночь стали талмудистом, ибо снова отвечаете вопросом на вопрос. Тогда, разумеется, спорить с вами мудрено.— Он остановился, как будто я обязан был тут же ответить на реплику, но я опять не понял, чего, в сущности, он ждал.— Впрочем, вернемся к нашим баранам,— продолжал он изменившимся тоном.— Не думаю, что вашей протеже — имею в виду ту даму — угрожает внезапная опасность. Предоставим делу идти своим чередом. Хотя и говорят — умный человек предвидит события, но мне кажется, умнее тот, кто не торопится и ожидает всего. Может быть, у меня появится возможность встретиться с Аароном Вассертрумом, но тогда это должно исходить от него — я не сделаю первым шага, прийти должен он. К вам или ко мне — безразлично, и тогда я с ним поговорю. Последует он моему совету или нет, будет зависеть от *него*. Я умываю руки.

По выражению его лица я осторожно пытался угадать его мысли. Таким ледяным и непривычно угрожающим тоном он еще никогда не говорил. Но в этих черных глубоко посаженных глазах я ничего не увидел, кроме зияющей бездны.

«И все же меня от него отделяет как бы призрачная стеклянная стена», — вспомнились слова Мириам.

Мне оставалось только молча пожать ему руку и удалиться.

Он проводил меня до двери, и, поднимаясь по лестнице, я еще раз оглянулся и увидел, что он стоит на том же самом месте и приветливо кивает мне головой, но так, будто что-то еще хочет сказать и не решается.

## Страх

Я собирался взять пальто и трость и пойти перекусить в небольшом ресторанчике «У старого Унгельта», где по вечерам Цвак, Фрисляндер и Прокоп сидели до поздней ночи и рассказывали друг другу сногшибательные истории; но едва я оказался в спальне, планы мои мгновенно улетучились, как если бы моя рука потянулась за платком или чем-то другим в карман и вдруг вместо кармана обнаружила бы дыру.

В воздухе была напряженность, в которой я не мог дать себе отчета, что-то изменилось, но, несмотря на это, она существовала как нечто осязаемое, и через несколько мгновений тревога настолько завладела мной, что сначала я едва понимал, что мне следует сперва делать — то ли зажечь лампу, то ли закрыть за собой дверь, то ли сесть или подняться и уйти.

Неужели кто-то пробрался в мое отсутствие ко мне и спрятался? Или это был страх человека, боявшегося, что его обнаружат, и заразившего своим страхом и меня? Быть может, здесь находился Вассертрум?

Я отодвинул гардины, открыл шкаф, заглянул в спальню: никого.

Даже шкатулка неподвижно стояла на своем обычном месте.

Не лучше ли побыстрей сжечь письма, чтобы раз и навсегда перестать волноваться?

Я полез было за ключом в карман жилета — но почему

именно сейчас это нужно делать? У меня достаточно оставалось времени до утра.

Сначала зажечь лампу!

Я не мог найти спички.

Заперта ли дверь? Я отступил на несколько шагов. Снова остановился.

Почему сразу страх?

Хотел было упрекнуть себя, что я трус, — мысли споткнулись. В середине броска.

Нелепая идея внезапно пришла мне в голову: быстро-быстро забраться на стол, взять кресло, поднять его и ударить им по черепу *того*, кто полз по полу, если... если он приблизится.

— Но здесь никого нет, — громко и строго сказал я самому себе. — Разве ты когда-нибудь в жизни праздновал труса?

Бесполезно. Воздух, вдыхаемый мной, стал разреженным и удушливым, как эфир.

Если б я *что-нибудь* увидел — пусть самое страшное, что можно было бы представить, — страх мигом отступил бы от меня.

Но ничего не появлялось.

Я обшарил глазами все уголки — ничего.

Всюду сплошь давно известные знакомцы: мебель, комод, лампа, картина, стенные часы — уснувшие старые верные друзья.

Я надеялся, что под моим взглядом они изменят свою форму и дадут мне основание найти причину мучительного страха в самом себе — что у меня просто обман чувств.

Тоже ничего не вышло. Они оставались верны самим себе. Настолько верны в своей неподвижности в наступающих сумерках, что это казалось естественным.

«Они угнетены тем же, чем и ты, — понял я, — они не решаются хоть чуточку пошевелиться».

Почему остановились часы?

Напряженность всюду поглощала любой звук.

Я задел стол и удивился, что он со скрипом передвинулся.

Хоть бы ветер засвистел в печной трубе, как соловей-разбойник! — даже этого нет! Или затрещали бы дрова в печке — огонь погас.

Та же самая тревога в воздухе, непрерывная и безысходная, как круги на воде.

Во мне снова все напряглось, будто я готовлюсь к прыжку. Я отчаялся, что смогу пережить это! Комната, наполненная глазами, которых я не видел, полная беспорядочно дергающихся и шарящих по предметам рук, которых я не мог ухватить.

«Это ужас, рождающийся из самого себя, — смутно сознавал я, — мучительный кошмар неуловимого Не-что, бесформенного и разрушающего границы нашего сознания».

Я застыл на месте и стал ждать.

Прождал, вероятно, четверть часа: может быть, «оно» соблазнится и подкрадется ко мне сзади — и я смогу схватить его.

Я повернулся назад: снова ничего.

То же самое всепоглощающее Ничто, которого *не было*, но комната была наполнена его страшной жизнью.

А если сбежать? Что мне мешало?

«Оно пойдет за мной», — в твердой уверенности тут же понял я. Даже если бы я зажег лампу, тоже не помогло бы, согласился я, тем не менее я очень долго искал огниво, пока оно не нашлось.

Но фитиль не загорался, и из тлеющей искорки ничего не получалось: хилый язычок пламени не способен был ни погаснуть, ни вспыхнуть, и когда наконец он завоевал право на чахлое существование, все же продолжал оставаться тусклым, как желтый испачканный грошик. Нет, в темноте даже лучше.

Я обессилел и рухнул на постель не раздеваясь. Стал

отсчитывать удары сердца: раз, два, три, четыре... И так до тысячи, и каждый раз заново — часы, дни, недели, как мне казалось, пока не пересохли губы и волосы не встали дыбом, ни на миг не становилось легче.

Даже ни на один-единственный миг.

Я начал произносить слова, те, что первыми приходили на ум: «принц», «дерево», «дитя», «книга», — и судорожно повторять их, пока они вдруг не предстали предо мной в обнаженном виде, как бессмысленные пугающие звуки из древних варварских времен, и я из кожи лез вон, чтобы задуматься и найти их первоначальный смысл — «п-р-и-н-ц»? «к-н-и-г-а»?

Уж не сошел ли я с ума? Или скончался? Все ощупал вокруг себя.

Встать!

Сесть в кресло!

Я заставил себя плюхнуться на сиденье.

Хоть бы скорей уж старуха с косой забрала!

Только бы не чувствовать больше этой обескровливающей ужасной напряженности.

— Я не хочу — я — не — хочу! — кричал я. — Разве вы не слышите?!

Без сил я откинулся назад.

Непонятно, почему я до сих пор был жив.

Не способный что-то соображать или делать, я уставился прямо перед собой в одну точку.

«Почему все-таки он так настойчиво протягивает мне зерна?» — мысли нахлынули на меня и отступили и снова нахлынули. Отступили. Нахлынули снова.

Мало-помалу мне наконец стало ясно, что передо мной стояло диковинное существо, появившееся, быть может, с тех пор, как я уселся здесь, и простершее ко мне руку.

Серое широкоплечее создание, ростом с плотного высокого человека, опиравшегося на обточенную, спирально скру-

ченную дубину, вырезанную из белого дерева.

Там, где должна была находиться голова, я сумел только различить темный шар из бледного тумана.

От привидения исходил затхлый запах сандалового дерева и влажного сланца.

Чувство полнейшей беспомощности почти лишало меня сознания. Все, что я постоянно испытывал с изматывающей болью, теперь сгустилось в смертельный страх и застыло в форме этого существа.

Инстинкт самосохранения подсказывал мне, что я сошел бы с ума от ужаса и потрясения, если бы увидел лицо фантома, предостерегал меня, кричал мне прямо над ухом, но голова призрака притягивала меня как магнит, и я не в силах был оторвать взгляд от белесого туманного шара и пытался отыскать на нем глаза, нос и губы.

Но сколько я ни старался, туман оставался неподвижен. Я был рад насаживать на туловище головы разной формы, но каждый раз понимал, что они лишь порождение моей фантазии.

Впрочем, они тоже постоянно исчезали почти в тот же миг, едва я создавал их в своем воображении.

Только дольше всех сохранялась голова египетского ибиса.

Контуры привидения дрожали в призрачном мареве мрака, чуть заметно сжимались и снова расширялись, точно от неторопливого дыхания, охватывавшего всю фигуру,— это было единственное движение, доступное глазу. Вместо ног пола касались сучковатые пни, на их бугристых краях выделялись куски серого бескровного мяса.

Существо недвижно протягивало мне руку.

В ней лежали небольшие зерна красного цвета размером с фасоль, покрытые черными крапинками.

Что мне с ними делать?

Я смутно ощущал, что на мне лежала огромная ответственность — ответственность, выходившая далеко за



пределы суетного мира, если я не приму правильного решения.

Две чаши весов, на каждой тяжесть половины мироздания, колебались где-то в царстве причинности, догадывался я, на одну из них я брошу песчинку, и та перевесит.

Кругом расставлены страшные ловушки, понял я.

«Не прикасайся! — кричал мне рассудок, — даже если не наступит смерть и не освободит тебя от этой муки».

Если бы ты сделал свой выбор, шептал внутри меня голос, ты бы *отверг* эти зерна. Все мосты сожжены, пути назад нет.

Ища помощи, я оглянулся, не даст ли мне кто-нибудь знак, что мне делать.

Пусто.

Даже у себя я не мог спросить ни совета, ни поделиться мыслями с собой — все во мне опустело и вымерло.

В этот страшный миг жизнь мириад людей весила столько же, понимал я, сколько одна пушинка.

Должно быть, уже наступила глубокая ночь, ибо мне больше не удавалось увидеть стен комнаты.

Рядом в студии раздались тяжелые шаги; я слышал, что кто-то передвигал шкаф, выдвигал ящики и с грохотом бросал на пол. Я думал, что слышал голос Вассертрума, и предполагал, что он своим басом начнет извергать дикие проклятья. Больше я не слушал. Для меня все это было так же безразлично, как мышинный шорох. Я сомкнул глаза.

Мимо меня нескончаемой вереницей плыли человеческие лица. Веки закрыты — застывшие мертвые хари: мой собственный род, мои пращуры.

Все та же самая форма головы, как бы неизменившаяся внешне, восстала из своей могилы — то с гладкими расчесанными волосами, то с курчавыми и коротко подстриженными, с мужскими длинноволосыми париками, с кроной волос, стянутых обручами, — головы шествовали сквозь

столетия, пока растянувшиеся вереницы не становились мне все знакомей и знакомей и не слились в последнее лицо — лицо Голема, оборвавшего цепь моих предков.

Затем тьма моей комнаты растворилась в бесконечном и безлюдном пространстве, в центре которого я узнал себя, сидевшего в своем кресле, снова передо мной серый призрак с протянутой рукой.

И когда я открыл глаза, в двух кругах, образовавших восьмерку, стояли обступившие нас диковинные существа.

В одном кругу облаченные в покровы с лиловым отливом, в другом — с красновато-черным. Люди иной расы с длинными неестественно худыми телами, закрывавшие лица сверкающими платками.

Душевное смятение подсказало мне, что час приговора пробил. Мои пальцы дернулись к зернам, и тут я увидел, как задрожали фигуры в красноватом круге.

Отказаться от зерен? Трепет охватил синеватый круг — я отчетливо видел мужчину без головы; он стоял там — на том же самом месте, недвижимый, как и раньше.

Он даже перестал дышать.

Я поднял руку, все еще не зная, как мне поступить, и — ударил привидение по простертой руке, так что зерна покатились по полу.

На мгновение, точно от внезапного электрического разряда, я потерял сознание и подумал, что низринулся в бездонную пропасть, потом уверенно встал на ноги.

Серое существо исчезло. Как и существа красноватого круга.

Синеватые фигуры окружили меня. На груди у них сияли надписи из золотых иероглифов, и они безмолвно держали вверх — это было похоже на клятву — между указательным и большим пальцами красные зерна, выбитые мною из руки безголового привидения.

Я слышал, как за окном с неба неистово низвергается град и оглушительные раскаты грома распарывают воздух.

Зимняя гроза во всей своей безумной ярости неслась над городом. Со стороны реки сквозь завывание бури гремели с равномерными промежутками глухие пушечные залпы, возвещавшие о разрушении ледяного панциря на Влтаве. Моя каморка озарилась светом молний, непрерывно следовавших одна за другой. Неожиданно я ощутил такую слабость, что колени у меня задрожали, и я вынужден был присесть.

«Будь спокоен,— отчетливо произнес чей-то голос рядом,— будь совершенно спокоен, сегодня «лайла шимуриим» — ночь бдения» \*.

Постепенно непогодь утихомирилась, и оглушительный шум перешел в однозвучную дробь градин по крыше.

Слабость во всем теле была такая, что все, что происходило вокруг меня, я воспринимал как в оцепенелом полусне.

Кто-то в кругу произнес слова:

— *Кого вы ищете, того здесь нет.*

Другие что-то отвечали на непонятном мне языке.

Затем тот же голос еле слышно произнес фразу, где повторялось имя Енох \*\*, но остального я не разобрал: ветер доносил шумные стоны с реки, внагнет набитой ледяными глыбами.

Затем один из них вышел из круга, подошел ко мне, показал на иероглифы на своей груди — те же самые знаки, что на груди у остальных,— и спросил меня, могу ли я их прочесть.

\* Два первых вечера еврейской Пасхи в память об исходе евреев из Египта. В Библии об этом сказано: «Это — ночь бдения Господу за изведение их (евреев) из земли Египетской; эта самая ночь — бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их» (Исход, 12, 42).

\*\* Сын Иареда, отец Мафусаила (не путать с Енохом, сыном Каина, и с Мафусаилом, правнуком этого Еноха). В Послании Иуды Енох называется «седьмым от Адама» (14, 15). В Послании к евреям о нем говорится: «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти» (11, 5).

И когда я — бормоча от усталости — ответил, что не смогу, он протянул мне навстречу ладони, и надпись за-  
сверкала на моей груди, составленная сначала из латинских  
букв:

СНАВРАТ ZEREN AUR BOCHER \*

\* Союз сияния утренней зари (*искаж. евр.*).

## Жажда

Последние часы пролетели незаметно. Вряд ли мне хватало времени на трапезу.

Неодолимая жажда деятельности приковала меня с утра до вечера к рабочему столу.

Каменя была готова, и Мириам радовалась ей как дитя.

Буква «И» в книге Иббур тоже была исправлена.

Я откинулся на спинку кресла и безмятежно перебирал мелочи прошедшего дня.

Вдруг ворвалась старуха, прислуживавшая мне и поутру после бури сообщившая, что ночью обрушился Каменный мост.

Поразительно — обрушился! Может быть, именно в тот час, когда я зерна... Нет, нет, не думать об этом, вполне возможно, что происшедшее тогда со мною получит окраску реальности, для себя я решил похоронить случившееся в своей душе, пока оно само не воскреснет,— только не прикасаться!

Как давно это было, когда я ходил по мосту, смотрел на каменные статуи,— а теперь, простоявший столетия, мост лежал в развалинах.

Мне стало немного грустно оттого, что уже больше никогда я не смогу пройти по нему. Его могли, конечно, восстановить, но все равно больше не будет древнего легендарного Каменного моста.

Вырезая камею, я часами размышлял об этом, и, разумеется, мост оживал в моих воспоминаниях, будто я про

него никогда и не забывал: ребенком, да и в более поздние годы я часто смотрел на статуи святой Лутгарды и всех остальных, покоившихся теперь на дне бурных вод Влтавы.

Я снова мысленно смотрел на множество небольших, но дорогих для меня предметов, которые я в юности называл своими, видел и мать с отцом, и школьных товарищей. Только никак не удавалось вспомнить об отчем доме.

Я знал, что однажды, когда я меньше всего буду ожидать, он внезапно снова предстанет предо мной, и загодя радовался.

Было так уютно от этого чувства, что во мне сразу все воскресало естественно и просто.

Третьего дня я достал книгу Иббур из шкатулки — не было ничего странного в том, что она стала точь-в-точь такой, как древняя книга из пергамента, украшенная драгоценными инициалами, — это мне казалось совершенно нормальным.

Я не мог уразуметь, почему она тогда подействовала на меня так загадочно?

Она была написана на древнееврейском языке, которого я совсем не понимал.

Когда же незнакомец заберет ее?

Радость жизни, незаметно заполнявшая меня во время работы, возродилась во всей своей освежающей чистоте и развеяла мои ночные мысли, готовые снова застать меня врасплох.

Я быстро достал фотопортрет Ангелины — подпись, стоявшую внизу, я отрезал — и поцеловал его.

Все это было глупо и нелепо, конечно, но почему бы хоть раз не помечтать о счастье, удержать радужное настоящее и радоваться ему, как мыльному пузырю?

Неужели невозможно осуществление того, чем тогда томилось мое обманутое сердце? Неужели совсем невозможно, чтобы за ночь я стал знаменитым? Или равным тому знаменитому, даже если я человек без роду и племени?

Или по меньшей мере достойным доктора Савиоли? Я подумал о камее Мириам: она мне удалась как никакая другая — вне сомнения, лучшие художники всех времен не создавали более совершенного произведения.

Что, если муж Анжелины внезапно скончался?

Меня бросало то в жар, то в холод — малейшая случайность, и моя мечта, самая дерзкая мечта, обретет плоть и кровь. Мое счастье висело на тонкой ниточке, готовой в любую секунду порваться, и это счастье потом неизбежно упадет мне в руки.

Но разве уже не являлось мне тысячу раз чудо? Не являлось ли мне то, о существовании чего род людской даже и не догадывался?

Не было ли чудом, что в течение нескольких недель во мне пробудились художественные способности, вознесшие меня высоко над теми, кто не хватает звезд с неба?

А ведь я находился только в начале пути!

Разве у меня не было права на счастье?

Неужели мистика равнозначна отсутствию желаний?

Я заглушил в себе ответное «да»: лишь бы еще часок помечтать — хоть минуту — мгновение человеческой жизни!

И я бредил с открытыми глазами.

Драгоценные камни на столе росли и росли, и вот окружили меня со всех сторон радужным водопадом. Опаловые деревья сгрудились в рощицы и сверкали, словно волны небесного света, отливавшего синевой в искристой измороси, как крылья гигантской бабочки над необозримыми лугами, напоенными жарким летним ароматом.

Меня мучила жажда, и я охладил свое лицо в ледяных брызгах потока, бурлившего среди скал в сверкающем перламутре.

Знойное дыхание касалось косогора, усеянного цветами, и я впивал аромат жасмина, гиацинта, нарцисса, волчника...

Невыносимо! Невыносимо! Я погасил видение. Меня мучила жажда.

Это были муки блаженства.

Я рывком распахнул окно, и теплый ветер коснулся моего лба.

Дохнуло наступающей весной.

Мириам!

Мои мысли вернулись к Мириам. Как от волнения ей пришлось держаться за стену, чтобы не упасть, когда она пришла рассказать мне, что произошло чудо, самое настоящее чудо — она нашла золотую монету в караване, положенном пекарем через решетку на кухонное окно у двери.

Я взял свой кошелек — надо надеяться, что сегодня еще не поздно и я вправе *снова совершить волшебное превращение с дукатами!*

Она приходила ко мне каждый день, чтобы, как она это называла, составить мне общество, но при этом почти все время молчала, настолько ее переполняло «чудо». Она слишком глубоко переживала, и когда мне представляется сейчас, как она безо всяких видимых причин — только под влиянием воспоминаний — вдруг смертельно бледнела, у меня голова кружилась при одной мысли, что я мог по своей слепоте совершить непоправимый поступок.

И когда я повторял последние загадочные слова Гиллеля и связывал их с этой мыслью, у меня мороз пробежал по коже.

Чистота намерений не выгораживала меня — я понимал, что цель не оправдывает средства.

И сверх того, что, если желание помочь было «чистым» только с виду? Может быть, все-таки за ним скрывалась тайная ложь? Или самодовольное неосознанное желание насладиться ролью заступника?

Я начал обманывать самого себя.

Было ясно, что я крайне легкомысленно судил о Мириам.

Ведь она дочь Гиллеля, значит, ни в чем не может быть похожа на других девушек.



И у меня хватило наглости вторгаться ей в душу, возможно, находившуюся к небу ближе, чем моя душа!

Меня должно было предостеречь ее лицо, черты которого в сто раз больше соответствовали шестой династии египетских фараонов и даже для этой эпохи выглядели более одухотворенными, чем для нашего времени с его типом рассудочного человека.

«Только круглый дурак не доверяет внешности», — прочел я однажды у кого-то. Как метко! И как точно!

Мириам и я были теперь верными друзьями: отвечать ли мне перед ней, что это я день за днем обманывал ее дукатами в караване?

Удар был бы внезапным. Это потрясло бы ее.

Нельзя рисковать, следует действовать осторожней.

Как смягчить впечатление от «чуда»? Вместо того чтобы вкладывать деньги в хлеб, положить их на лестничной ступеньке, чтобы она тут же обнаружила их, едва откроет дверь, и так далее и тому подобное? Надо бы придумать что-то новое. Найти более крутой поворот на пути, который снова вернет ее мало-помалу в будни, утешал я себя.

Конечно, это был более правильный путь.

Или же сразу разрубить узел? Посвятить в тайну ее отца и попросить совета? Краска стыда залила мне лицо. Есть еще время, все другие средства еще не исчерпали себя.

Скорее браться за дело, нельзя терять ни минуты!

Мне нужен удобный случай: я уговорю Мириам совершить что-нибудь необычное, выведу ее на два-три часа из привычной обстановки, отвлеку ее.

Мы возьмем экипаж и совершим прогулку. Нас никто не узнает. Надо только проскочить еврейский квартал.

Может быть, ей будет интересно взглянуть на рухнувший мост?

А может, с ней поедет старый Цвак или ее прежние подруги, если она сочтет неудобным ехать со мной?

Я твердо решил не считаться ни с какими ее возражениями.

На пороге я чуть было не сбил с ног какого-то мужчину. Вассертрум!

Он, видно, подглядывал в замочную скважину: когда я столкнулся с ним, он стоял согнувшись.

— Вы меня ищете? — спросил я резко.

Он пробормотал несколько слов извинения на своем немыслимом жаргоне, затем подтвердил, что ищет меня.

Я пригласил его войти и присесть, но он остался стоять у стола и судорожно тербил поля шляпы. Глубокая неприязнь, тщетно скрываемая от меня, отражалась на его лице и в каждом жесте.

Никогда я еще не видел его в такой непосредственной близости. В нем не было жуткого, отталкивающего уродства (у меня оно скорее вызывало чувство сострадания: он выглядел существом, которому сама природа, исполненная ярости и омерзения, наступила ногой на лицо) — нечто иное, неопределимое, что исходило от него, и было для него наказанием.

«Племя» — как точно отметил Хароузек.

Невольно я вытер руку, протянутую ему, когда он вошел.

Я постарался, чтобы это не слишком бросалось в глаза, но, кажется, он заметил, так как вынужден был силой погасить в себе злобу, которой вспыхнуло его лицо.

— Красиво живьёте здесь, — начал он наконец, заикаясь, когда увидел, что я не собираюсь заговорить первым.

Но вразрез со своим замечанием он почему-то закрыл глаза, может быть, чтобы не встречаться со мной взглядом. Или же он думал, что это придает его лицу невинное выражение?

По его произношению было ясно, с каким трудом давалась ему немецкая речь.

Я не торопился отвечать, ждал, что он скажет дальше. От смущения он схватил напильник, который — Бог весть как — еще с визита Хароузeka появился на столе, но тотчас невольно отдернул пальцы, точно укушенный змеёй. В душе я поразился его подсознательной психической чуткости.

— Однако, конечно, гешефт такой, чтоб ежели,— набрался он смелости продолжать,— такое благородное посещение получилось.— Он хотел было открыть глаза, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели на меня его слова, но, видимо, счел это преждевременным и тут же снова закрыл их.

Я решил припереть его к стене.

— Вы говорите о женщине, недавно заезжавшей сюда? Признайтесь откровенно, куда вы клоните!

На миг он замешкался, затем крепко вцепился мне в запястье и потащил к окну.

Станный, необъяснимый жест напомнил мне о том, как он несколько дней назад тянул в свою конуру глухонемого Яромира.

Скрюченными пальцами он держал передо мной блестящий предмет.

— Что вы думаете, господин Пернат, что еще придётся со стуканцами делать?

Это были золотые часы с таким изуродованным корпусом, что они выглядели так, будто кто-то намеренно хотел разбить их.

Я взял увеличительное стекло — шарниры были наполовину оторваны, а внутри — что-то выгравировано? Буквы были едва различимы, на них осталось много свежих царапин. Я не спеша стал разбирать надпись:

К рл Зотман

Зотман? Зотман? Где я уже встречал эту фамилию? Зотман? Я никак не мог вспомнить. Зотман?

Вассертрум чуть не вырвал лупу у меня из рук.

— Ничто здесь нет, уже сам смотрел, однако с корпусом тут нечисто.

— Тут всего лишь нужно выровнять корпус — в крайнем случае запаять. С таким же успехом вам это может сделать любой ювелир, господин Вассертрум.

— Однако я много заплачу, ежели произойдет хорошая работа, как говорится, классная,— резко перебил он меня. Почти со злостью.

— Ну хорошо, если для вас это столь важно...

— Столь-таки важно! — Голос его зашелся от усердия.— Я хочу-таки носить их сам. И когда уже покажу их кому-то, скажу — смотрите, вот она, работа самого господина Перната.

Меня тошнило от этого субъекта. Безобразно лстя мне, он буквально забрызгал слюной мое лицо.

— Приходите через час, все будет готово.

— Так не выйдет,— в судороге извивался Вассертрум.— Такое я не хочу. Тфа-три дня. Или четыре. Хватит время для другой недели. Всю жизнь буду укорять себя, ежели стану вас торопить.

Что только ему нужно было от меня, почему он так усердствовал? Я зашел в спальню и спрятал часы в шка-тулку. Фотография Ангелины лежала сверху, и я снова закрыл крышку — на случай, если Вассертрум следил за мной.

Когда я вернулся, мне бросилось в глаза, что Вассер-трум побледнел.

Я пристально пригляделся к нему, но мои подозрения тут же развеялись — невозможно! Он не мог ничего уви-деть!

— Значит, тогда, возможно, на той неделе,— сказал я, чтобы он побыстрее убрался.

Но тут оказалось, что старьевщик сразу перестал то-ропиться, пододвинул кресло и уселся в него.

Теперь, в отличие от прежнего, он при разговоре не

закрывал своих рыбьих глаз и упорно сверлил зрачками верхнюю пуговицу на моем жилете.

Молчание продолжалось.

— Натурально, эта шалава сказала вам, что вы ничего не знаете, что случилось. Что-о? — Без всяких предисловий он вскипел и бухнул кулаком по столу.

Что-то непривычно пугающее было в сумятице, с какой он переходил от одной манеры выразиться к другой и был способен мгновенно перескакивать от ласкательного тона к плебейской грубости. Наверное, большинство людей, особенно женщины, в два счета покорялись ему, если в чем-то зависели от него.

Первой моей мыслью было вскочить, схватить его за шкирку и выставить за дверь; потом я подумал, не разумнее ли будет сначала один раз основательно выслушать его.

— В самом деле, мне непонятно, господин Вассертрум, что вы имеете в виду,— я старался придать своему лицу выражение тупицы,— шалава? Что это значит — шалава?

— Может быть, мне учить вас говорить по-немецки, а? — набросился он на меня.— Придётся отвечать на суде, ежели дело повернется так, что либо пан, либо пропал. Вот что я вам скажу, понятно? — Он перешел на крик.— Вы же не станете говорить мне языком в глаз, что оттуда,— большим пальцем он показал в сторону студии,— «она» прискакала к вам сюда в одной накидке и больше ни в чем?

Ярость ослепила меня, я схватил мерзавца за грудки и потрянул его.

— Еще слово в подобном тоне, и я вам все ребра переломлю! Понятно?

Весь посеревший от страха, он упал в кресло и, заикаясь, спросил:

— Что... Что та... Что вам угодно? Я хотел сказать...

Несколько раз я прошелся по комнате, чтобы немного прийти в себя. И не слушал, как он с пеной у рта без конца бормочет извинения.

Затем я сел вплотную к нему с твердым намерением выложить все начистоту, ведь дело касалось Ангелины, и если не удастся мирно, то силой вынудить его начать военные действия и загодя раскрыть пару-тройку его мелких козырей.

Не обращая ни малейшего внимания на его возражения, я сказал ему прямо в глаза, что любой шантаж — я подчеркнул это слово — был бы безуспешным, если он не подкрепит единственное обвинение доказательством, и точно знаю, что уклонюсь от дачи показаний (положим, вряд ли вообще это произойдет). Ангелина настолько мне близка, что я спасу ее от беды, чего бы это мне ни стоило, *даже ценой лжесвидетельства.*

Лицо его подергивалось, заячья губа разошлась до носа, он скрежетал зубами и без конца прерывал меня, злобно шипя, как индюк:

— Разве ж я такого хочу от шалавы? Так слушайте сюда! — Он был вне себя от возбуждения, от того, что не мог сбить меня с толку. — Я сделаю из Савиоли, из этого проклятого пса... этого, этого... — с рычанием вдруг вырвалось у него из груди.

Он стал задыхаться. Я тут же спохватился: наконец-то он подошел к тому, где мне хотелось его поймать, но он уже пришел в себя и снова стал пялить рыбьи глаза на мой жилет.

— Слушайте сюда, Пернат, — он вынужден был копировать трезвую обдуманную речь торгаша, — вы говорили о шала... о женщине. Хорошо! Она вышла замуж. Хорошо... Связалась с ... молодым негодяем. Но мне-то что до этого? — Он размахивал передо мной руками, держа пальцы так, словно в них была щепотка соли. — Пусть шалава сама расхлебывает кашу. Я порьядочный человек, и вы тоже. Мы таки знаем это оба. Что-о? Я только хочу получить свои деньги. Вам понятно, Пернат?

Я насторожился:

— Какие деньги? Разве доктор Савиоли должен вам что-нибудь?

Вассертрум уклонился от ответа:

— У него есть должок. Не все ли равно какой.

— Вы собираетесь убить его! — воскликнул я.

Он вскочил с кресла. Пошатнулся. Несколько раз икнул.

— Конечно! Убить! Сколько можно разыгрывать передо мной комедию! — Я указал на дверь. — Чтобы духу вашего здесь не было.

Он не спеша взял шляпу, надел ее и повернулся к выходу. Затем еще раз остановился и сказал с таким спокойствием, какого я в нем никогда не мог предположить:

— И то ладно! Я собирался дать вам свободу. Ладно. Нет так нет. Милосердный брадобрей наносит скверные раны. Пора кончать парашу. А если бы Савиоли стал поперек дороги вам?! *Теперь — я — вашу — троичу,* — он сжал пальцы в кулак, жестом намекая на то, что имеет в виду, — *в порошок сотру.*

Он кипел сатанинской злобой и казался таким уверенным в себе, что у меня кровь застыла в жилах. Вероятно, у него есть оружие, о котором я ничего не знал, и даже Хароузек не подозревал о нем. Я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног.

«*Напильник! Напильник!*» — прошептал внутри меня голос. Я прикинул на глаз расстояние — шаг до стола, два — до Вассертрума, хотел было вскочить, но на пороге, точно из-под земли, вырос Гиллель.

Комната поплыла у меня перед глазами.

Я только видел — как сквозь туман, — что Гиллель неподвижно стоит на месте, а Вассертрум пятится к стене.

Затем я услышал голос Гиллеля:

— Вы же, Аарон, знаете заповедь — *все евреи стоят друг за друга?* Не сваливайте эту ответственность на других. — Он добавил что-то на еврейском языке, но я не понял слов.

— Вам так очень нужно вынюхивать за дверью?

— Вынюхиваю я или нет, не ваша забота,— Гиллель снова закончил фразу по-еврейски, на этот раз звучащую угрожающе. Я боялся, что дело кончится руганью, но Вассертрум не вымолвил ни слова, раздумывая несколько мгновений, потом решительно направился к выходу.

Я напряженно следил за Гиллелем. Он кивнул мне, я продолжал молчать. Видимо, он чего-то ждал, так как внимательно прислушивался к тому, что происходило за дверью. Я хотел ее закрыть, но он нетерпеливым жестом вернул меня обратно.

Прошла, быть может, минута, затем послышались шаркающие шаги старьевщика по лестнице. Ни слова не говоря, Гиллель вышел и посторонился.

Вассертрум подождал, чтобы тот отошел подальше, затем злобно прошипел:

— Стуканцы мои отдайте.



## Женщина

Куда же пропал Хароузек?

Прошли почти сутки, а о нем ни слуху ни духу.

Может быть, забыл про условный знак? Или, возможно, не замечал его?

Я подошел к окну и направил зеркало так, чтобы солнечный зайчик, отраженный от него, попал прямо в забранное решеткой потайное окошко в его подвальной конуре.

Вчерашнее вмешательство Гиллеля успокоило меня. Он непременно предупредил бы меня о приближающейся опасности.

Кроме того, Вассертрум не мог больше предпринять ничего серьезного; вскоре после своего ухода он вернулся в лавку, я бросил взгляд на улицу — и верно: он сидел, неподвижно прислонившись спиной к печным плитам, точно так же, как и сегодня утром.

Это вечное ожидание — оно невыносимо! Ласковый весенний ветер, залетавший в открытое окно спальни, раздражал меня мучительной истомой.

Как была мелодична ленивая музыка капли, падавшей с крыши! Как сверкали тонкие водяные струи в солнечных лучах!

Меня влекло в неведомые дали. Не зная, куда деться, я метался по своей каморке из угла в угол. Бросался в кресло. Снова вставал.

Это хмельные семена смутной влюбленности неудержимо проросли в моей душе.



Я промучился всю ночь напролет. Один раз появилась Ангелина, она прижималась ко мне, потом я, кажется, вел совсем невинный разговор с Мириам, и едва рассеялся ее образ, снова пришла Ангелина и поцеловала меня; я вдыхал аромат ее волос, а ее мягкий соболий воротник щекотал мне шею, шуба сползла с ее обнаженных плеч — и Ангелина превращалась в Розину, танцевавшую в одном фраке на голом теле с пьяными полузакрытыми глазами... И все это в полусне, бывшем, однако, точно так же полуявью, сладкой, изнуряющей сумеречной полуявью.

Под утро у моего изголовья стоял мой двойник, прозрачный «Гавла де-Гармей», «дух костей», о котором говорил Гиллель, и я видел по его глазам: он в моей власти и *должен* ответить на любой мой вопрос, который я ему задам о вещах дольного и горнего мира, а он только этого и *ждал*, но я не способен был утолить жажду таинственного из-за знойного тока своей крови, которая была не в силах насытить высохшую почву моего рассудка. Я удалил призрак, он превратился в зеркальное отражение Ангелины, и все это вместе сгорбилось и стало буквой «Алеф», выросшей снова и превратившейся в обнаженную исполинскую женщину, увиденную мной однажды в книге Иббур, биение ее пульса было подобно землетрясению, и она склонилась надо мной, и я вдыхал пьянящий аромат ее жаркой плоти.

Неужели Хароузек все еще не пришел? На церковной колокольне загудели колокола.

Я решил подождать четверть часа, а потом уйти куда глаза глядят! Бродить по оживленным улицам среди празднично одетых людей, в богатой части города смешаться с веселой толпой, любоваться красивыми женщинами, их очаровательными лицами и стройными ногами.

Может быть, при этом встречу с Хароузекком, оправдывался я перед собой.

Я взял с книжной полки старинную колоду карт для тарока, чтобы скоротать время.

Может быть, картинки на картах подтолкнул меня на создание эскиза для камней?

Я стал искать пагат.

Но пагата не было. Куда он мог подеваться?

Еще раз пересмотрел все карты и стал размышлять о скрытом смысле изображений. Особенно был интересен «повешенный» — что бы он мог обозначать?

Человек висел на веревке между небом и землей вниз головой, руки связаны за спиной, правая голень крестнакрест с левой ногой, так что это выглядело как крест на перевернутом треугольнике.

Загадочное сравнение.

Вот! Наконец-то! Пришел Хароузек.

Или мне показалось?

Приятная неожиданность — пришла Мириам.

— Знаете, Мириам, я только что решил спуститься к вам и предложить прокатиться со мной по городу.— Было не совсем так, конечно, но я не задумывался над этим.— Ведь правда, вы не откажете мне?! У меня на сердце весна, и вы, именно вы, Мириам, должны сделать меня бесконечно счастливым.

— Прокатиться? — Она настолько удивилась, что я громко рассмеялся.

— Разве мое предложение так уж нелепо?

— Нет-нет, но... — она подыскивала слово,— невероятно странно. Прокатиться по городу!

— Вовсе не странно, если вы представите, что сотни тысяч людей, в сущности, только этим всю жизнь и занимаются.

— Конечно, но то *другие* люди! — согласилась она, все еще ошеломленная моим предложением.

Я взял ее за руки.

— Если *другие* люди вправе испытывать радость, мне бы хотелось, Мириам, чтобы вы насладились бы ею еще больше.

Внезапно ее лицо покрыла смертельная бледность, и по ее неподвижно застывшему взгляду я понял, о чем она думает.

Это задело меня.

— Вам не стоит все время носиться с этим, Мириам,— продолжал я,— носиться с чудом. Вы обещаете мне это хотя бы из... дружеских побуждений?

Она уловила в моих словах испуг, и взгляд ее был полон изумления.

— Если бы оно вас так не утомляло, я радовался бы вместе с вами, но как? Знаете, я очень беспокоюсь за вас, Мириам, за... за... как бы это только выразить — за ваше душевное здоровье! Не поймите меня буквально, но... Мне хотелось бы, чтобы чудо никогда не совершилось.

Я ожидал, что она станет возражать, но она лишь кивнула головой, уйдя в себя.

— Это изматывает вас. Разве я не прав, Мириам?

— Порою мне тоже хочется, чтобы оно не произошло,— набравшись духу, ответила она.

Для меня сверкнул луч надежды.

— Если приходится думать,— она говорила медленно, погруженная в мечты,— что наступят времена, когда мне придется жить без такого чуда...

— Но вы за ночь можете стать богатой, и тогда вам больше ничего не будет нужно,— опрометчиво продолжал я, но тут же осекся, заметив, как она ужаснулась моим словам.— Я имею в виду, что вы могли бы сразу избавиться от своих забот, не насилуя своей воли, и чудо, которое вы тогда бы испытали, стало бы духовным деянием, внутренним переживанием.

Она покачала головой и сухо ответила:

— Внутреннее переживание — не чудо. Довольно странно, что оно дано людям, вообще не знающим, что такое чудо. С детства я переживала днем и ночью,— она резко наклони-

нилась ко мне, и я догадался, что она скрывает что-то еще другое, о чем никогда не рассказывала мне, может быть, какое-то кружево невидимых событий, похожее на мое,— но это не имеет отношения к чуду. Даже если кто-то ставит на ноги и исцеляет больного прикосновением рук, я не могу назвать это чудом. Только когда мертвая материя — земля — оживится духом и нарушит закон природы, происходит чудо, к чему я и стремлюсь, едва стала сознавать себя. Отец мне как-то сказал: есть две стороны в Каббале — магическая и абстрактная, которые никогда не пересекаются. Может быть, магическая сторона способна притягивать абстрактную, но никогда наоборот. Магическая сторона — *дар*, абстрактную же *можно* постичь хотя бы с помощью наставника.— Она снова пояснила свою главную мысль: — *Дар* — это то, к чему я стремлюсь; мне все равно и не имеет цены, как персть, то, чего я могу достичь сама. И когда я вынуждена думать, что наступят времена, как я сказала раньше, что мне снова придется жить без чуда,— я заметил, как она судорожно сжала пальцы, меня мучили жалость и раскаяние,— то чувствую, что готова умереть от одной этой вероятности.

— И это причина того, что вы тоже хотели, чтобы чудо никогда не осуществилось? — допытывался я.

— Только отчасти. Тут есть что-то еще другое. Я... Я,— она на секунду задумалась,— я еще не готова к тому, чтобы испытать чудо в этой форме. Это так. Как бы мне вам объяснить? К примеру, мне много лет подряд каждую ночь снится один и тот же сон, который все еще продолжается и в котором кто-то — мы говорим: обитатель иного мира — наставляет меня и показывает не только в зеркальном отражении мои постепенные изменения, как далека я от магической зрелости и от умения переживать чудо, но и освещает мне даже вопросы логики, занимавшие мой ум в течение дня, чтобы я могла их пересмотреть в любое время. Вы поймете меня: такое существо заменяет собой в счастье

все, что можно представить на земле: оно — мост, соединяющий меня с «небом», лестница Иакова, по которой я из тьмы повседневности поднимаюсь к свету,— мой наставник и друг; и вся моя уверенность, что на глухих тропинках, по которым ступает моя душа, я не способна заблудиться в безумии и мраке, покоится на нем, не солгавшем мне ни разу. Потом вдруг вопреки всему, что он мне говорил, я вижу «чудо». Кому теперь верить? Значит, то, что неизменно наполняло меня многие годы,— обман? Если бы я сомневалась в этом, я бы бросилась вниз головой в бездонную пропасть. И все-таки чудо произошло! Я бы закричала от радости, если бы...

— Если бы?..— прервал я ее и затаил дыхание. Может быть, она сама теперь произнесет спасительное слово, и я сумею ей во всем признаться.

— Если бы узнала, что заблуждаюсь, что это вовсе не было чудо! Но я точно знаю — как и то, что нахожусь здесь,— что погибла бы, если бы снова пришлось спуститься с неба на землю. Думаете, человек способен такое вынести?

— Но ведь можно попросить помощи у отца,— сказал я, растерявшись от испуга.

— Помощи у отца? — она недоуменно взглянула на меня.— Там, где для меня только два пути, он способен найти третий?.. Знаете, в чем мое единственное спасение? Если бы со мной произошло то же, что и с вами. Если бы я в ту же минуту могла позабыть все, что принадлежит прошлому,— всю мою жизнь до сегодняшнего дня. Не странно ли, то, что вы ощущаете как несчастье, для меня высшая радость?!

Мы оба надолго замолчали. Потом она неожиданно взяла меня за руки и улыбнулась. Но уже почти радостно.

— Не хочу, чтобы вы огорчились из-за меня,— она утешала меня — меня! — перед этим вы были так довольны и счастливы, что на улице наступила весна, а теперь вы опечалены. Мне вообще ничего не надо было говорить. Забудьте

про это и думайте снова так же весело, как прежде! Я просто очень рада...

— Вы рады, Мириам? — с горечью прервал я ее.

— Конечно, в самом деле рада! — В лице ее была уверенность. — Когда я поднималась к вам, я чувствовала себя как-то необычно — не знаю почему: я никак не могла освободиться от ощущения, что вам угрожает страшная опасность. — Я насторожился. — Но вместо того чтобы радоваться, увидев вас в полном здравии, я раскаркалась и...

— Вы можете поднять мне настроение, — улыбнулся я через силу, — если поедете со мной. — Насколько возможно, я старался говорить бодрым тоном. — Мне все-таки хочется увидеть, Мириам, удастся ли рассеять ваши мрачные мысли. Скажите, чего вам хочется, — вы еще далеко не египетский маг, но пока что юная девушка, с которой теплый ветер может сыграть злую шутку.

Внезапно она совсем повеселела.

— Да что это сегодня с вами, господин Пернат? Таким я вас еще никогда не видела! Кстати, о «теплом ветре»: как известно, у нас, еврейских девушек, теплым ветром управляют родители, а мы лишь повинемся. Такое тоже в порядке вещей. У нас это в крови. Но, конечно, не у меня, — добавила она серьезным тоном. — Моя мать наотрез отказала, когда ее сватал ужасный Аарон Вассертрум.

— Что? Ваша мать? Отказала старьевщику?

— И слава Богу, — кивнула Мириам, — этого не случилось. Для бедного человека такое, конечно, было смертельным ударом.

— Бедный человек, сказали вы? — Я вскочил с места. — Этот субъект — преступник.

Она задумчиво покачала головой:

— Конечно, он преступник. Но находиться в таком незавидном положении и не стать преступником способен только пророк.

Из любопытства я подсел поближе к Мириам.



— Вы знаете о нем подробности? Интересно. Особенно...

— Если бы вы когда-нибудь видели его лавку изнутри, господин Пернат, вы тотчас бы поняли, что у него на душе. Я говорю это потому, что часто бывала у него в детстве. Почему вы так удивленно смотрите? Разве это так уж необычно? Он всегда был радушен и добр ко мне. Один раз даже, помнится, подарил мне крупный сверкающий камень, особенно выделявшийся среди всех его вещей. Моя мать сказала, что это бриллиант, и мне, разумеется, пришлось тут же вернуть его.

Сначала он долго не хотел брать его, но потом выхватил у меня и с яростью швырнул подальше от себя. Но я заметила, как у него при этом слезы брызнули из глаз; я уже тогда достаточно хорошо владела древнееврейским, чтобы понять, как он пробормотал: «Все проклято, к чему бы ни прикоснулась моя рука...» С тех пор он никогда больше не звал меня к себе. Даже знаю почему: если бы я не пыталась его утешать, все осталось бы по-старому. Но оттого, что мне было бесконечно жаль его и я ему сказала об этом, он больше не желал меня видеть... Вам непонятно, господин Пернат? Но это же так просто: он одержимый — то есть человек, тут же становящийся подозрительным, болезненно подозрительным, если кто-то лезет в его душу. Все его держат за мерзавца еще большего, чем он есть на самом деле,— и в этом корень всех его мыслей и дел. Говорят, его очень любила жена, может, это было больше сострадание, чем любовь, но тем не менее так думали многие. Единственный, кто думал наоборот, был он сам. Всюду ему мерещились злоба и предательство.

Он делал исключение только для своего сына. Не потому ли так вышло, что он видел, как тот растет у него на глазах с младенческих лет, то есть был, так сказать, свидетелем рождения всяких качеств в ребенке с самого начала и оттого никогда не приближался туда, откуда бы могла начаться его подозрительность. А может, потому, что это в еврейской

крови: вся способность излить любовь на своего отпрыска — в инстинктивном страхе нашей нации, что мы можем выродиться и не исполнить миссии, о которой мы позабыли, но этот страх продолжает жить в нас — кто знает!

С осторожностью, граничившей с мудростью и у такого не книжного человека выглядевшей необычной, руководил он воспитанием сына, с проникательностью психолога убирая с его пути любое испытание, могущее развить чувство совести, чтобы в будущем избавить его от терзаний.

Он нанял для него учителя — ученого, отстаивавшего воззрение, что животные бесчувственны, а их реакция на боль — всего лишь врожденный рефлекс.

Из любого плода выжимать максимум радости и наслаждения для самого себя и тут же за ненадобностью выбрасывать кожуру — такова была примерная азбука его дальновидной системы воспитания.

И можете себе представить, господин Пернат, что деньги при этом как символ и ключ к власти играют первую роль. А так как он сам свое богатство тщательно прятал от чужого глаза, стараясь, чтобы границы его влияния были покрыты мраком, он и придумал средство сделать сына подобным себе, но в то же время избавить его от мучений внешне нищенской жизни: он пропитал его дьявольской ложью о «красоте», обучил внешним и внутренним приемам эстетики, умению прикидываться *снаружи* цветочком на лужку, а *внутри* оставаться стервятником.

Естественно, это открытие «красоты» было едва ли его изобретением — по всей вероятности, это было «улучшение» совета, данного ему образованным человеком.

Он никогда не роптал на то, что позже его сын отрекался от него, где и когда только мог. Напротив, он вменил ему это в *обязанность* — ведь его любовь была жертвенной и, как я сказала уже однажды о своем отце, это была любовь, поправшая смерть...

На миг Мириам замолчала, и я увидел, как ее сознание безмолвно продолжает плести свою пряжу. Это я понял по изменившемуся тону, когда она сказала:

— Загадочные плоды созревают на иудейском древе.

— Скажите, Мириам, вы никогда не слышали о том, что Вассертрум держит в своей лавке восковую куклу? Не помню, кто мне про это рассказал — может, мне все приснилось...

— Нет-нет, все правильно, господин Пернат: восковая кукла в натуральную величину стоит у него в углу, где он спит на соломенном тюфяке среди невообразимого хлама. Он приобрел ее давным-давно у владельца балагана, говорят, только потому, что она была похожа на девушку-христианку, якобы бывшую когда-то его любимой.

«Мать Хароузек!» — тут же догадался я.

— Вы не знаете, Мириам, как ее звали?

Она покачала головой:

— Если вам интересно, может быть, мне узнать?

— О Господи, конечно, нет, Мириам; мне совершенно все равно, как ее звали.— По ее сверкнувшим глазам я заметил, что она увлеклась рассказом. Я решил, что ей нельзя снова волноваться.— Что меня интересует больше всего, так это тема, о которой вы упомянули мимоходом. Я имею в виду «теплый ветер». Ваш отец, конечно, еще не решил, за кого вам выходить замуж?

— Мой отец? — Она весело рассмеялась.— Как вы могли подумать!

— Ну, тогда мне очень повезло.

— Как так? — простодушно спросила она.

— Тогда у меня есть еще шансы.

Это была лишь шутка, и она отнеслась к ней так же, тем не менее быстро встала и подошла к окну, чтобы я не увидел, как она покраснела.

Я несколько смягчил тон, чтобы помочь ей справиться со смущением.

— Как давний друг, прошу вас об одном. Посвятите меня в свою тайну, если это когда-нибудь произойдет. Или вы вообще не собираетесь выходить замуж?

— Нет-нет-нет! — Она так решительно не согласилась со мной, что я невольно улыбнулся. — Когда-нибудь я, конечно, выйду замуж.

— Само собой разумеется!

Она разволновалась как девочка.

— Неужели вы хотя бы минуту не можете оставаться серьезным, господин Пернат? — Я послушно перевоплотился в наставника, и она снова села в кресло. — Так вот, если я говорю, что мне придется когда-нибудь выйти замуж, то я имею в виду, что, хотя мне не приходилось задумываться до сих пор ни о чем, одно мне ясно — раз я женщина, мне нельзя оставаться бездетной.

В первый раз я увидел в Мириам черты женственности.

— Мне нужно представить в своих мечтах, — еле слышно продолжала она, — что брак — конечная цель, если два существа сливаются в одно, в то, что... Вы никогда не слышали о древнеегипетском культе Озириса? Сливаются в одно, что можно обозначить как символ гермафродита.

Я стал весь внимание:

— Гермафродита?

— Я имею в виду мистическое слияние мужского и женского начала человечества в полубожестве. Как конечная цель! Нет! Не как конечная цель, а как начало нового пути, вечного пути, *не* имеющего конца.

— И вы надеетесь, — поразился я, — когда-нибудь найти то, что ищете? А не может получиться так, что это существо обитает в другой стране, а может, и вообще не на земле?

— Об этом я ничего не знаю, — сказала она без обвиняков. — Я могу только ждать. Если он отделен от меня пространством и временем — во что я не верю, иначе зачем я тогда была бы связана с гетто? — или пропастью взаимного неведения и я не найду его, значит, жизнь моя прошла

бесцельно и была бессмысленной игрой бездарных демонов. Но, пожалуйста, прошу вас, не будем больше говорить об этом,— умоляюще произнесла она.— У изреченной мысли уже появляется неприятный привкус пошлости. И я не хотела бы...

Она внезапно смолкла.

— Что не хотели бы, Мириам?

Она подняла руку, торопливо поднялась и сказала:

— К вам пришли, господин Пернат.

У входа зашелестело шелковое платье.

Требовательный стук в дверь. И вот —

Ангелина!

Мириам собралась уходить, я удержал ее:

— Позвольте представить — дочь моего дорогого друга — графиня...

— Подъехать даже нельзя. Перерыли все мостовые. Вы когда-нибудь переедете в более или менее сносное жилье, мастер Пернат? На улице снег растаял, в небе такое ликование, что душа поет. А вы торчите здесь в своем болоте, как старая жаба... Кстати, знаете, вчера я была у своего ювелира, и он сказал, что вы величайший художник, тончайший резчик камней, какие только существуют сегодня, если не самый великий из всех, кто когда-либо жил! — Речь Ангелины обрушилась на меня неудержимым потоком, я был зачарован ею. Я видел ее лучистые голубые глаза, маленькие ножки в узких лакированных сапожках, видел своевольное сияющее лицо над грудой меха и розовые мочки ушей.

Она едва передохнула.

— На углу мой экипаж. Я уж боялась, что вас может не оказаться дома. Надеюсь, еще не обедали? Мы поедем сначала... Да, куда же мы сначала поедем? Сначала мы поедем — подождите! Вот! Может быть, в парк или, короче говоря, куда-нибудь на лоно природы, где так вольно дышится на воздухе среди почек и таинственных побегов. Идемте, идемте, возьмите вашу шляпу, а потом мы перекусим у меня, а

затем поболтаем до вечера. Возьмите же вашу шляпу! Чего вы ждете? Теплая, очень мягкая полость в экипаже — мы укутаемся ею до шеи и прижмемся друг к другу, пока не станет жарко.

Что мне оставалось ответить?!

— Только что мы с дочерью моего друга договорились о поездке...

Прежде чем я успел договорить, Мириам быстро попрощалась с Ангелиной.

Я проводил ее до двери, хотя она дружески отнекивалась.

— Послушайте, Мириам, я не могу сказать здесь на лестнице, как я к вам привязан и что мне в тысячу раз лучше с вами...

— Не заставляйте ждать даму, господин Пернат,— стояла она,— прощайте, желаю весело провести время!

Она сказала это искренне, не кривя душой, но я заметил, что блеск в ее глазах притух.

Она стремительно сбежала по лестнице, и боль сдавила мне горло. Мне казалось, что весь мир погрузился во мрак.

Я был опьянен близостью Ангелины, сидевшей со мной рядом. Мы неслись во весь опор по улицам, заполненным людьми.

Прибой жизни так грохотал вокруг меня, что я, наполовину оглушенный, способен был только различать небольшие яркие блики, мелькавшие передо мной,— сверкающие бриллианты в серьгах и цепочках на муфтах, лоснящиеся цилиндры, белоснежные дамские перчатки, пуделя с розовым бантом на шее, с тявканьем рвущегося укусить колеса нашего экипажа, взмыленных вороных, в серебряной сбруе несущихся нам навстречу, окно магазина со сверкающей чашей, наполненной жемчугом и искристыми диадемами, блеск шелка на стройных девичьих бедрах.

Резкий ветер, ударявший нам в лицо, позволял мне еще

острее ощущать в восхищении теплое тело Ангелины.

Полицейские на перекрестках с почтением отскакивали в сторону, когда мы проносились мимо них.

Затем лошади шагом направились по набережной — экипажи выстроились в один ряд у обрушившегося Каменного моста, набережная была запружена толпами зевак.

Я мало что замечал вокруг — одно лишь слово из уст Ангелины, ее ресницы, торопливая игра ее губ — все, все было для меня намного важнее, чем видеть, как сопротивлялись под нами обломки каменных глыб, подставляя плечи под удары шатучих льдин.

Дорога в парк. Потом — утрамбованная упругая земля. Затем шелест листьев под копытами лошадей, влажный воздух, обнаженные вековые стволы деревьев, усыпанных вороньими гнездами, мертвая луговая зелень с беловатыми островками еще не растаявшего снега — все мелькало передо мной как во сне.

Лишь несколько коротких слов, почти равнодушных, Ангелина бросила в адрес доктора Савиоли.

— Теперь, когда опасность миновала, — произнесла она с обворожительной детской непосредственностью, — и я знаю, что и у него дела идут на поправку, все, что я пережила, мне кажется ужасно скучным. Хочу наконец снова радоваться, строить глазки и окунаться в радужную пену жизни. Все женщины, по-моему, такие. Только не признаются в этом. Или настолько глупы, что не знают самих себя. Вы согласны? — Она даже не услышала, что я ей на это ответил. — Впрочем, женщины меня совсем не волнуют. Естественно, не считайте, что я вам льщу. Но одна лишь близость симпатичного мужчины гораздо приятнее увлекательной беседы с такой же умной женщиной. Наконец, весь этот вздор и чепуха в их болтовне. В крайнем случае немного рассуждений о нарядах — а что потом? Я легкомысленна, не так ли? — спросила она вдруг с таким кокетством, что, очарованный ее обаянием, я еле сдержался, чтобы не обхва-

тить ладонями ее головку и поцеловать сзади в шею.— Признайтесь, что я легкомысленна!

Она плотней прижалась ко мне и протиснула свою руку мне под локоть.

Мы выехали из аллеи мимо рощицы с декоративными кустами, обернутыми соломой, выглядевшими под своей оболочкой как туловища чудовищ с обрубленными конечностями.

На скамейках отдыхали люди, греясь на солнышке, глядели нам вслед и судачили между собой.

Мы помолчали немного и отделись потоку своих мыслей. Насколько Ангелина оказалась иной, нежели я себе представлял ее до сих пор! Как будто сегодня впервые я увидел ее по-настоящему!

Неужели действительно это была женщина, которую я тогда в первый раз утешал в соборе?

Я не в силах был отвести взгляд от ее полураскрытых губ.

Она продолжала молчать. Казалось, что-то безмолвно вспоминала про себя.

Экипаж свернул на влажный луг.

Пахнуло пробуждающейся землей.

— Знаете... фрау...

— Зовите меня Ангелиной,— чуть слышно сказала она.

— Знаете, Ангелина, что... что я сегодня всю ночь мечтал о вас? — сдавленным голосом воскликнул я.

Она сделала быстрое незаметное движение, будто хотела освободить свою руку, и серьезно посмотрела на меня.

— Невероятно! А я — о вас! И в эту секунду я думала о том же самом.

Мы снова замолчали, оба догадываясь, что думали об одном и том же.

Я чувствовал биение ее крови, ее рука едва заметно дрожала на моей груди. Она напряженно смотрела вдаль мимо меня.



Медленно я поднес ее руку к своим губам, снял белую надушенную перчатку, услышал, как участилось ее дыхание, и, обезумев от страсти, сжал зубы на ее большом пальце.

Много времени спустя я словно пьяный брел сквозь вечернее марево к городу. Бесцельно кружил по улицам и долго шел, не зная, где нахожусь.

Потом я остановился у реки и, склонившись над стальными перилами, неподвижно смотрел на кипучие волны.

Я все еще чувствовал руки Ангелины на своей шее, видел перед собой каменное ложе фонтана, у которого мы много лет назад однажды расстались, со сгнившими листьями вяза на дне, и она снова безмолвно брела со мной, как только что, положив мне голову на плечо, по продрогшему сумрачному парку около своего замка.

Я сел на скамейку и надвинул шляпу на лоб, чтобы помечтать.

На плотине шумела вода, и ее рокот поглощал последние угасающие вздохи засыпавшего города.

Иногда я плотнее запахивал пальто и видел, как река погружалась во мрак, пока наконец, скованная непроглядной ночью, не уносила в грязно-буrom потоке от плотины бурливые пряди белой пены к другому берегу.

Я вздрагивал при мысли, что снова придется возвращаться к своему безрадостному очагу.

Сияние мгновенного полдня навсегда сделало меня чужим в собственном доме.

Промежуток в несколько недель, а может, и дней промелькнул улыбкой счастья — и не осталось ничего, кроме дивных воспоминаний с привкусом горечи.

А потом?

Потом — бездомность здесь и там, на том и другом берегу.

Ну — вставай! Еще один взгляд сквозь решетку парка на

замок, за окнами которого она спала, прежде чем брести в беспросветное гетто... Я стал возвращаться прежней дорогой, откуда пришел, и побрел ощупью сквозь густой туман вдоль ряда домов по уснувшим площадям; взгляд мой выхватывал грозно высившиеся передо мной мрачные памятники, одинокие караульные будки и барочные узоры фасадов. Тусклое мерцание фонарей ширилось огромными фантастическими кругами в бледном радужном отблеске, резало глаза бледно-желтым светом и расплывалось в воздухе за моей спиной.

Моя нога нащупала широкие каменистые ступеньки, усыпанные галькой. Куда я попал? Ложбина, круто вздымавшаяся вверх?

Справа или слева находится гладкая каменная ограда парка? Голые сучья деревьев свисали сверху. Они падали с неба: ствол дерева прятала стена тумана.

Две-три гнилые тонкие ветки с хрустом сломались, когда я задел их шляпой, и, скользя по моему пальто, нырнули в туманную седину, в которую погрузились мои ноги.

Затем светящаяся точка: где-то вдали одинокий огонек загадочно повис между небом и землей.

Должно быть, я заблудился. Похоже, что это была старая дворцовая лестница близ склона Королевского парка...

Затем длинная глинистая тропа. Наконец мощеная дорога.

Огромная башня вздымала голову в ночном колпаке — Далиборка. Голодная башня, в которой томились узники, пока куда короли травили дичь в Оленьем лого.

Узкая излучистая улочка с бойницами, лабиринт, едва позволявший протиснуться плечам,— и вот я очутился перед рядом домиков, которые были чуть повыше меня.

Стоило протянуть руку, и я мог коснуться застрехи.

Я находился на Гольдмастергассе, где когда-то средневековые алхимики плавил философский камень и насыщали ядом лунные лучи.

Никакой другой дороги не вело сюда, кроме той, какой я пришел.

Однако я больше не находил проема в стене, чтобы пройти, он был забран деревянной решеткой.

Ничего не оставалось, как разбудить кого-нибудь, сказал я самому себе, чтобы мне показали, как отсюда выбраться. Странно, что дом здесь перекрывал переулочек — он был больше, чем остальные дома, и такой уютно-светлый! Вроде я никогда не замечал его.

Должно быть, он очень хорошо выбелен, если так ярко выделяется в тумане.

Минуя решетку, я прохожу по узкой садовой аллее, прижимаюсь лбом к оконному стеклу — полный мрак. Стучу в окно. Там, в комнате, появляется в дверях древний старик, в руке у него зажженная свеча, старческим неуверенным шагом он доходит до середины комнаты, останавливается, не спеша поворачивает голову к запыленным алхимическим ретортам и колбам у стены, его взгляд задумчиво устремляется к огромной паутине в углу потолка, а потом его глаза неподвижно застывают на мне.

Тень от скул заслоняет глазницы, так что они кажутся пустыми, как у мумии.

Вероятно, он меня не видит.

Я стучу в стекло.

Он меня не слышит. Снова бесшумно, как сомнамбула, выходит из комнаты.

Тщетно жду.

Стучу в ворота дома — никто не открывает...

Ничего другого не остается, как снова начать бесконечные поиски, пока наконец я не найду выхода из переулка.

Не лучше ли, подумал я, оказаться среди людей с моими друзьями Цваком, Прокопом и Фрисляндером под крышей «У старого Унгельта» — они наверняка там, чтобы, по край-

ней мере, на несколько часов заглушить мучительную тоску по Ангелине? Я тут же отправился в путь.

Они устроились за старым столом с источенной жучком столешницей — ни дать ни взять трилистник мертвых, — все трое с белыми тонконогими трубками в зубах, в таком дыму, что хоть топор вешай.

Их лица были почти неразличимы в скудном свете старой тысячей лампы, поглощаемом темно-бурыми стенами.

Худая как щепка, морщинистая молчунья кельнерша сидела в углу со своим вечным вязаным чулком, водянистыми глазами и желтым утиным носом.

Красные шторы с матовым отливом висели на закрытых дверях, и приглушенные голоса посетителей в смежной зале долетали до нас точно эхо гудящего пчелиного роя.

Фрисляндер в конусообразной шляпе с прямыми полями, с клиновидной бородкой, серым цветом лица и шрамом под глазом выглядел как утопленник голландец из канувших в Лету столетий.

Иешуа Прокopf воткнул вилку в свои длинные музыкантские кудри, без усталости щелкая невероятно длинными костлявыми пальцами, и с восторгом наблюдал, как Цвак бьется над тем, чтобы повесить на пузатую бутылку рисовой водки пурпурный плащик марионетки.

— Это будет Бабинский, — с глубокомысленной важностью объяснил мне Фрисляндер. — Вы не знаете, кто такой Бабинский? Цвак, ну-ка расскажите Пернату, что это была за птица!

— Бабинский, — тут же начал Цвак, ни на миг не отрываясь от своей работы, — когда-то был знаменитым пражским бандитом и убийцей. Долго занимался он своим гнусным ремеслом, и никто не подозревал об этом. Но постепенно в благородных семействах стали замечать, что то один, то другой родич отсутствует за столом и никогда больше не появляется. Правда, поначалу все помалкивали в

тряпочку, поскольку такой факт имел свои преимущества, ибо меньше приходилось возиться со стряпней. Но нельзя было оставить без внимания, что престиж в обществе мог от этого легко пострадать и породить всякие криво-толки.

Особенно если речь идет о бесследном исчезновении девиц на выданье.

Кроме того, требовалось чувство собственного достоинства, чтобы совместная жизнь в буржуазной семье выглядела порядочной хотя бы внешне.

Газетные рубрики «Вернись, я все простил» появлялись все чаще, как грибы после дождя,— обстоятельство, не учтенное Бабинским, легкомысленным, как и большинство профессиональных убийц,— и наконец привлекли к себе всеобщее внимание.

Под Прагой, в прелестной деревушке Крче, Бабинский, обладавший в душе исключительно миролюбивым нравом, построил себе благодаря своей неутомимой деятельности небольшое, но уютное гнездышко — домик, сверкающий белизной, а перед ним палисадничек с цветущей геранью.

Поскольку его доходы не допускали расширения застройки, он вынужден был — чтобы иметь возможность незаметно хоронить свои жертвы — вместо цветочной клумбы, которую он с удовлетворением созерцал бы, сделать если и не колумбарий, то могильные холмы, без усталости увеличивая их в длину, когда того требовало дело или сезон.

На этом святом месте Бабинский каждый вечер, утомясь от трудов праведных, посиживал под лучами заходящего солнца и разыгрывал на флейте всевозможные элегические напевы.

— Стоп! — резко оборвал рассказчика Прокоп, вытащил из кармана ключ от своей квартиры, приставил его, как кларнет, к губам и запел: «Тим-ти-рим, ля-лям па-па!»

— Вы что, были при этом, если так хорошо знаете мелодию? — удивился Фрисляндер.

Прокоп метнул в его сторону недовольный взгляд.

— Для этого я слишком поздно родился. Но что мог исполнять Бабинский, мне как композитору лучше знать. Вы не способны судить о таких вещах: вам медведь на ухо наступил. Тим-тирим, ля-ля-лям па-па!..

Цвак растроганно слушал Прокопа, пока тот снова не спрятал свой ключ, а потом продолжал:

— Холм все рос и рос, пока это не вызвало подозрения у соседа. И полицейскому из предместья Жижково, случайно увидевшему издали, как Бабинский душил престарелую даму из порядочного общества, выпала честь раз и навсегда покончить со злодейским ремеслом изверга.

Бабинский был арестован в своем райском уголке.

Суд приговорил его, при смягчающих вину обстоятельствах, учитывая его прекрасную репутацию, к смерти через повешенье и одновременно поручил фирме «Братья Лейпен», торгующей вервием *en gros et en detail* \*, поставить необходимый материал для приведения приговора в исполнение, поскольку оный отсутствовал в их ведомстве, а гражданский счет перечислили высшему государственному казначейству.

Вышло так, что веревка лопнула, а Бабинский был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Двадцать лет провел убийца за стенами монастыря святого Панкратия, и за это время ни слова упрека не сорвалось с его губ: еще и сегодня чиновничий штат прокуратуры возносит хвалу его образцовому поведению; да, ему даже разрешили в дни рождения высочайшей особы императора иногда поигрывать на флейте...

Прокоп тут же снова полез за ключом, но Цвак остановил его.

— По случаю всеобщей амнистии Бабинскому скостили оставшийся срок, и он получил место привратника в обители «Сестры милосердия».

\* оптом и в розницу (*франц.*).

Несложная работа по саду, исполняемая им между делом, давалась ему легко: он ведь по роду своих прежних занятий привык сноровисто работать заступом, так что у него оставалось достаточно свободного времени, чтобы просветляться умом и сердцем в добродетельном чтении тщательно отобранных книг.

Окончательные результаты превосходили все ожидания.

Когда бы ни посылала его игуменья по субботним вечерам в трактир, чтобы он мог слегка потешить душу, он каждый раз возвращался до наступления ночи домой, намекая, что распад общественной морали угнетает его, а бесчисленное преступное отродье делает сельскую дорогу опасной, так что для каждого мирянина разумной была бы заповедь — вовремя возвращаться домой.

В те годы в Праге мастера-восколеи имели дурную привычку выставлять на продажу небольшие фигурки, укрытые красной накидкой, изображавшие Бабинского.

Пожалуй, ни в одной скорбящей семье нельзя было не увидеть такой фигурки.

Но обычно они стояли в магазине под стеклянным колпаком, и ничто не приводило Бабинского в такой неистовый гнев, как вид этих восковых фигурок.

«В высшей степени недостойно и говорит о душевной черствости: где это видано — постоянно тыкать человеку в глаза заблуждениями его молодости, — рассуждал в таких случаях Бабинский, — и весьма достойно сожаления, что со стороны властей не предпринимается ничего, чтобы положить конец подобному безобразию».

В таком же духе он высказывался, уже находясь на смертном одре.

И не зря, так как власти вскоре распорядились прекратить продажу статуэток Бабинского...

Цвак одним глотком ополовинил стакан с грогом, и троица с дьявольской ухмылкой поставила многоточие в рассказе, потом Цвак осторожно повернул голову к бесцветной

кельнерше, и я увидел, как она смахнула слезу со щеки.

— Ну, а вы не придумаете ничего лучшего, кроме, разумеется, оплаты по счету из благодарности за испытанное наслаждение, дорогой коллега и резчик камей? — спросил меня Фрисляндер после общего долгого и глубокомысленного молчания.

Я рассказал им о своих скитаниях в тумане.

Едва я подошел к повествованию о том, как увидел белый дом, троица, волнуясь, оторвалась от своих трубок, и после окончания рассказа Прокоп грохнул по столу кулаком и воскликнул:

— Да это же сущее!.. Все легенды мира этот Пернат испытывает на собственной шкуре! А *ргорос* \*, о тогдашнем Големе — знаете, ведь ларчик просто открывался.

— То есть как это просто? — опешил я.

— Вы знакомы с еврейским нищим юродом Гашилем? Нет? Ну так вот — Големом оказался тот самый Гашиль.

— Нищий — Големом?

— Конечно, Гашиль был Големом. Нынче после обеда среди бела дня жизнерадостный призрак прогуливался по Зальнитергассе в своем пресловутом лапсердаке семнадцатого столетия. И тут-то на него благополучно и набросил петлю собачий живодер.

— Что это значит? Я ни слова не понимаю! — Я вскочил со стула.

— Я же вам и объясняю — это был Гашиль! Говорят, он давным-давно нашел лапсердак в подъезде дома. Впрочем, вернемся к белому дому на Малом углу: случай жутко любопытный. Именно об этом рассказывает древняя легенда: там наверху, на Алхимистенгассе, расположен дом, который можно увидеть только во время тумана, да и то такое удается тому, кто родился в рубашке. Называется он «Стеной у последнего фонаря». Кто проходит мимо него днем,

\* кстати (*франц.*).



видит там один огромный серый камень; за ним круто обрывающаяся в Олений лог пропасть; и вам здорово повезло, Пернат, что вы не сделали еще одного шага,— вы неминуемо полетели бы в бездну и переломали бы себе все кости.

Ходят слухи, что под камнем зарыт огромный клад, камень заложен как фундамент дома орденом «Азиатские братья», будто бы основавших Прагу. В этом доме когда-нибудь на закате дней станет жить человек — точнее говоря, гермафродит, существо, совмещающее в себе мужчину и женщину. И он поместит в гербе изображение зайца. Между прочим, заяц был символом Озириса, и *оттуда* же идет традиция подавать к столу зайца на Пасху!

Говорят, что, пока не пробил час, камень охраняет Мафусаил собственной персоной, чтобы сатана не оплодотворил камень и не произвел от него на свет сына, так называемого Армилоса. Вам никогда не приходилось слышать об этом Армилосе? Известно даже, как он будет выглядеть. Известно — точнее говоря, это знали древние раввины,— что, если он появится на свет, у него будут золотые волосы, сплетенные сзади в косу, затем — две макушки, серповидные глаза и руки, свисающие до пят.

— Этот петух стоит того, чтобы его нарисовать,— проворковал Фрисляндер и полез за карандашом.

— Так вот, Пернат,— закончил Прокоп,— если вам когда-нибудь посчастливится стать гермафродитом и en passant \* найти зарытый клад, тогда вспомните о том, что я всегда оставался вашим лучшим другом!

Мне было не до шуток. Сердце мое преисполнилось тихой грусти.

Цвак заметил это, хотя и не зная причины, но тем не менее сразу пришел мне на помощь:

— Во всяком случае, весьма удивительно и даже жутковато, что Пернату было видение именно в месте, столь тесно

\* между делом, мимоходом (*франц.*).

связанном с древним преданием. Тут причинные связи, звенья которых человек, видимо, не в силах порвать, хотя его душа способна созерцать формы, недоступные ощущению. Никуда мне не деться, но все-таки, согласитесь, *сверхчувственное* — это сама прелесть! Не правда ли?

Фрисляндер с Прокопом приняли важный вид, и каждый из нас считал ответ излишним.

— А вы как думаете, Евлалия? — снова спросил Цвак, повернувшись к кельнерше. — Разве сверхчувственное не самая прелестная штука на свете?

Старая кельнерша почесала спицей в макушке, вздохнула, покраснела и ответила:

— А подите вы! Надоели хуже горькой редьки.

— Чертовски напряженная атмосфера была сегодня весь день, — начал Фрисляндер, после того как утих взрыв нашего хохота. — Мне не удалось довести до конца ни одного штриха. То и дело мысли вертелись вокруг Розины, когда она танцевала во фраке.

— Ее снова нашли? — спросил я.

— «Нашли» — хорошо сказано. Полиция нравов добыла для нее большой ангажемент! Может, на нее положил глаз — тогда в «Лойзичеке» — сам господин комиссар? В любом случае она теперь развивает бешеную деятельность и существенно пополняет ряды иностранных туристов в еврейском квартале. Впрочем, за столь короткий срок она стала чертовски аппетитной девчонкой.

— Когда подумаешь, что может сотворить женщина с мужчиной только для того, чтобы заставить его влюбиться в нее, просто диву даешься, — заметил Цвак. — В поте лица добывать деньги, лишь бы можно было прийти к ней. Вот для чего бедный малый Яромир ночами превращается в художника. Он обходит кабаки и вырезает силуэты для посетителей, портреты своего рода.

Прокоп, пропустивший мимо ушей конец фразы, прошамкал:

— В самом деле? Неужели Розина так похорошела? Вы уже сорвали поцелуйчик с ее уст, Фрисляндер?

Кельнерша тут же вскочила с места и, полная негодования, оставила комнату.

— Мокрая курица, а тоже петушится! Вот уж поистину наказанье добродетелью! Подумаешь! — раздраженно пробурчал ей вслед Прокоп.

— Чего вы хотите, она ведь ушла на самом щекотливом месте. И кроме того, чулок уже был довязан, — успокоил его Цвак.

Трактирщик снова принес грогу, и разговоры мало-помалу приняли более двусмысленный оттенок. Настолько вольный, чтобы при моем лихорадочном состоянии еще и будоражить мне кровь.

Я старался отвлечься, но чем больше замыкался в себе, возвращаясь мыслями к Ангелине, тем жарче шумела кровь в голове.

Довольно неожиданно я распрощался с друзьями.

Туман слегка рассеялся, на мне искрились тонкие ледяные иглы, но мгла была еще такой густой, что я не в состоянии был прочесть таблички с названиями улиц и сбился с пути.

Я очутился в чужом переулке и хотел было вернуться назад, когда услышал, что меня кто-то окликнул:

— Господин Пернат, а господин Пернат!

Я огляделся, поднял голову — никого.

Открытый подъезд, над ним тускло краснел небольшой фонарь, и мне показалось, что в глубине прихожей белеет чья-то фигура.

Снова шепот:

— Господин Пернат, а господин Пернат!

Удивленный, я вошел в коридор, и тут же мою шею оплели теплые женские руки, и при свете, струящемся сквозь лениво размыкающуюся дверную щель, я понял, что это была Розина, с жаром прильнувшая ко мне.

## Ловушка

Тосклива хмарь смурного дня.

До самого утра я спал беспробудным мертвым сном.

Моя старуха служанка куда-то пропала или просто забыла растопить печь.

В печи остывала зола.

На мебель осела пыль.

Пола не касался веник.

Продрогнув, я ходил из угла в угол.

Тошнотворный дух сивухи заполнил комнату. Мое пальто и костюм были пропитаны старым устоявшимся запахом табачного дыма.

Я распахнул окно и снова закрыл — холодное тлетворное дуновение с улицы было невыносимо.

Мокрые взъерошенные воробьи недвижно застыли на карнизе под крышей.

Куда ни кинешь взгляд, везде побывала кисть серой скуки. Все во мне было покорежено и смято.

Сиденье на кресле — как же оно протерлось! По его краям пучками пробивался конский волос.

Следовало сходить к обивщику — да что там, будь как было — пусть будет еще одна пустая жизнь, пока все не провалится в тартарары.

А вон какая-то пошлая, несуразная рвань, скомканная тряпка на окне!

Почему бы не скрутить из нее веревку и не повеситься?!

Тогда уж мне никогда не придется смотреть на это надо-

евшее барахло, и вся эта жуткая изматывающая боль исчезнет раз и навсегда.

Да! Это самый разумный выход! Пора кончать.

Сегодня же.

Прямо сейчас — утром. Только не завтракать. Тошно при мысли, что отправиться на тот свет с набитым желудком! Что будешь лежать в сырой земле, неся в себе непереверенный гниющий завтрак.

Лишь бы только снова никогда не светило солнце и его наглая ложь о радости бытия вновь не засияла в душе!

Нет! Я больше не позволю водить себя за нос, не хочу быть мячиком в руках бездарной и нелепой судьбы, возносившей меня к небу, а потом снова бросавшей в грязную лужу, откуда я мог заглянуть в суетное прошлое, давно мне известное, что знает каждый ребенок и знакомо последней собаке в подворотне.

Бедная, бедная Мириам! Если бы я был в силах хоть немного помочь ей!

Необходимо принять решение, важное и неизменное, прежде чем во мне снова пробудится проклятая тяга к жизни и начнет обманывать меня новыми мечтами.

На что они были годны, все эти послания из царства вечности?

Ни на что, совершенно ни на что.

Может быть, только на то, чтобы я, шатаясь, брел по замкнутому кругу и поныне ощущал бранный мир как неизбывную муку. Тогда осталось одно.

Я мысленно прикинул, сколько денег у меня в банке.

Да, оставалось поступить только так. Это было единственное, какой-то мизер, чего-то стоивший из моих ничтожных дел в этой жизни!

Все, что я имел — в придачу несколько драгоценных камней в ящике стола, — сложить в пакет и переслать Мириам. По крайней мере, два-три года она не будет думать о завтрашнем дне. И написать письмо Гиллелю, где сообщу ему,

как с ней произошло «чудо». Он один способен ей помочь.

Я чувствовал: конечно, он знал, что ей посоветовать.

Я собрал камни, спрятал их, взглянул на часы — тут же пойду в банк, за час успею все привести в порядок.

А потом еще купить букет алых роз для Ангелины!.. Все во мне кричало от боли и дикой тоски. Пожить бы хотя бы еще день, один-единственный день!

Чтобы потом снова испытать то же самое гнетущее отчаяние? Нет, нельзя ждать ни минуты! Я был доволен тем, что не поддался соблазну.

Я огляделся. Что еще оставалось сделать?

Конечно — там напильник. Я сунул его в карман — выброшу где-нибудь в переулке, как уже собирался недавно.

Мне был отвратителен напильник! Стоило сделать неверный шаг, и я бы из-за него мог стать убийцей.

Кто там снова беспокоит меня?

Старьевщик.

— Всего минутку, господин фон Пернат, — растерянно попросил он, когда я дал понять, что у меня нет времени, — таки совсем полминутки. Таки тфа-три слова.

Лицо его покрылось испариной, и он дрожал от волнения.

— Можно поговорить с вами спокойно, господин Пернат? Мне не хочется, чтобы этот... Гиллель снова пришел. Таки лучше закройте дверь или будет лучше пойти в соседнюю комнату, — с обычной бесцеремонностью он потащил меня за собой.

Несколько раз он пугливо оглянулся и хрипло прошептал:

— Я тут себе помороковал, знаете ли, про недавнее. Это к лучшему. Ничего не выходит. Ладно. Что было, то было.

Я пытался разгадать по его глазам, чего он хочет.

Он выдержал мой взгляд, но судорожно схватился за кресло — такого напряжения ему это стоило.

— Я рад, господин Вассертрум, — как можно приветливее ответил я, — жизнь и так печальна, чтобы еще отравлять

ее друг другу взаимной неприязнью.

— Нет, надо же, будто говорит отпечатанная книга,— облегченно пробурчал он себе под нос, порылся в карманах штанов и снова извлек золотые часы с крышкой в избоинах.— И чтобы вам видеть, что у меня честные намерения, вы таки должны принять от меня эту безделицу в подарок.

— Ну как так можно,— отказался я.— Конечно, не подумайте,— тут я вспомнил, что мне говорила о нем Мириам, и протянул руку к часам, чтобы он не оскорбился.

Он не обратил на это никакого внимания и вдруг побелел, стал белым как мел, прислушался и прохрипел:

— Вот! Вот! Я таки знал про то. Уже опять Гиллель! Стучится!

Я послушал, вернулся в другую комнату и, чтобы успокоить его, прикрыл за собой дверь.

На сей раз это оказался не Гиллель, а Хароузек. Он вошел, приложил палец к губам, давая понять, что знает, кто у меня за дверью, и, не ожидая, что я скажу, в ту же секунду обрушил на меня словесную лавину:

— О высокоуважаемый и высокочтимый мастер Пернат, как мне подобрать слова, чтобы выразить вам свою радость, что я застал вас дома одного и в полном здравии.— Он декламировал как актер, и его высокопарные деланные пассажи были в таком вопиющем контрасте с его искаженным лицом, что меня охватил панический ужас.— Никогда бы, мастер Пернат, я не рискнул появиться у вас в лохмотьях, в которых вы меня, конечно же, видели много раз на улице,— да что я говорю: видели! Вы часто протягивали мне свою милосердную десницу.

То, что я имею возможность предстать сегодня перед вами в новом костюме с белоснежным воротничком,— знаете, кому я этим обязан? Одному из самых благородных и — ах! — к сожалению, самых непризнанных людей нашего города. Мной овладевает умиление, когда я думаю о нем.

Сам находясь в жалком положении, он тем не менее щедр

с теми, кто живет в бедности и унижении. Давным-давно, когда я увидел его печально стоявшим перед своей лавкой, у меня в глубине души возникло желание прийти к нему и молча пожать ему руку.

Несколько дней назад он позвал меня, когда я проходил мимо, дал мне деньги, и благодаря ему я мог купить в рассрочку костюм.

А знаете, мастер Пернат, кто мой благодетель?

Я с гордостью произношу это, ибо только один догадываюсь, какое золотое сердце бьется в его груди, — это господин Аарон Вассертрум!..

Разумеется, я понимал, что Хароузек ломал комедию перед старьевщиком, подслушивавшим под дверь, хотя мне, впрочем, оставалось неясно, чего он добивался, но в любом случае топорная лесть не годится для того, чтобы обмануть бдительность Вассертрума. По моему недоумевающему лицу Хароузек, очевидно, догадался, о чем я думаю, он, осклабясь, тряхнул головой, а дальнейшие слова должны были показать, что он достаточно изучил своего партнера и знает, когда можно переборщить.

— Конечно! Господин — Аарон — Вассертрум! У меня сердце сжимается оттого, что я не могу сказать ему сам, как я ему бесконечно благодарен. Умоляю вас, мастер, никогда не передавайте ему, что я был здесь и все вам рассказал. Знаю, людское себялюбие глубоко и неизлечимо отравляет его жизнь — ах, к сожалению, в его груди есть место только для справедливых подозрений.

Я психиатр, но даже моя интуиция подсказывает мне, что самое лучшее — это чтобы господин Вассертрум никогда не узнал — и из моих уст тоже, — какого я высокого мнения о нем. Это значило бы посеять сомнение в его несчастной душе. А я далек от такой мысли. Пусть лучше считает меня неблагодарным.

Мастер Пернат! Я самый несчастный человек, и мне с детских лет известно, что значит быть одиноким и покинутым в



этой земной юдоли! Я даже не знаю имени своего отца. Я даже никогда не видел в лицо свою матушку. Должно быть, она рано умерла. — Голос Хароузeka стал особенно вкрадчивым и проникновенным. — И была она, я точно знаю, одной из тех глубоко чувствующих щедрых натур, никогда не способных признаться, как бесконечна их любовь. К таким натурам принадлежит и господин Аарон Вассертрум.

У меня есть страничка, вырванная из дневника моей матери, я всегда ношу листок на груди, и в нем написано, что она любила моего отца, несмотря на то что он был уродлив, как, пожалуй, еще никогда не любила на земле мужчину простая смертная женщина.

Но она, кажется, никогда ему в этом не признавалась. Может быть, по той же причине, по какой, например, я не могу сказать господину Вассертруму, что благодарен ему. И невозможность сказать ему про это разрывает мне сердце.

И еще одно следует из этой странички, хотя, впрочем, я могу только догадываться, так как слова почти невозможно прочесть — они размыты слезами: мой отец, кто бы он ни был, пусть память о нем исчезнет на земле и на небе! — он чудовищно обошелся с моей матерью...

Хароузек внезапно грохнулся на колени, так что затрещали половицы, и зашелся в таком душераздирающем крике, что я уже не знал, валяет он дурака или на самом деле свихнулся.

— *Боже Всемогущий, имя Коего боится изречь человек, здесь на коленях стою я перед Тобой — будь трижды проклят отец мой на веки вечные!*

Последнее слово он буквально перекусил пополам и несколько мгновений прислушивался с выпученными глазами.

Потом в дьявольской ухмылке оскалил зубы. Мне показалось, что Вассертрум еле слышно застонал.

— Простите, мастер, — помолчав, деланно приглушенным голосом продолжал Хароузек. — Простите, что я не сдержался, но это моя утренняя и вечерняя молитва. Всевышний уст-

роит так, что моего отца, кем бы он ни был, постигнет ужаснейшая кончина, какую только можно придумать.

Невольню я хотел возразить, но Хароузек не дал мне говорить.

— Мастер Пернат, я пришел к вам с просьбой. У господина Вассертрума был воспитанник, безмерно им любимый. Возможно, это был его племянник. Ходят даже слухи, что будто бы это был его сын. Но я не верю, потому что иначе бы он носил ту же самую фамилию, а на самом деле его звали Вассори, доктор Теодор Вассори.

Слезы застилают мне глаза, когда я представляю его себе. Я помогал ему от чистого сердца, как будто меня с ним объединял прямой союз любви и родства.

Хароузек всхлипнул, точно от волнения не мог говорить.

— Ах, этот благородный человек покинул мир! Ах! Ах! Что тоже могло быть причиной — я никогда не знал ее — его самоубийства. И я был среди тех, кого призывали на помощь, — ах, ах, поздно — поздно — поздно! А потом, когда я остался один у смертного ложа и покрывал поцелуями его остывшую мертвую руку, тогда — почему бы мне было так не поступить, мастер Пернат? это, конечно, не было воровством, — тогда я взял розу с груди усопшего и присвоил себе колбочку, содержимое которой уготовило несчастному быструю кончину во цвете лет.

Хароузек вытащил медицинскую колбу и с дрожью в голосе продолжал:

— И то и другое я... кладу... сюда... на ваш стол, увядшую розу и склянку, они напоминали мне о моем усопшем друге.

Как часто в часы душевной немочи, когда мне хотелось умереть в полном одиночестве и тоске по почившей матери, играл я этой склянкой, и блаженной усладой было знать: *стоит только налить жидкости на платок и вдохнуть ее*, как я безболезненно перенесусь в потусторонний мир, где мой добрый милый Теодор отдыхает от забот земной жизни.

И вот прошу вас, высокоуважаемый мастер — для того я сюда и пришел,— возьмите то и другое и передайте господину Вассертруму.

Скажите, что вы получили это от человека, стоявшего рядом с доктором Вассори, однако имени его обещали не называть — может быть, вы получили это от женщины.

Он поверит, и роза с колбой будут для него памятью, как и мне дорога память о нем.

Пусть это будет тайной благодарностью, приносимой мною ему. Я беден, и это все, что у меня есть, но я радуюсь, зная, что роза с колбочкой будут принадлежать *ему*, и тем не менее он не подозревает, что податель сего — я.

В этом тоже для меня заключена какая-то бесконечная улада.

А теперь прощайте, дорогой мастер, заранее тысячу раз благодарен вам...

Он крепко пожал мне руку, подмигнул и прошептал что-то еле слышно, чего я все еще не понимал.

— Подождите, господин Хароузек, я немного провожу вас вниз,— машинально повторил я слова, прочтенные мною по движению его губ, и вышел вместе с ним.

Мы остановились на темной лестничной площадке первого этажа, и я собирался проститься с Хароузеком.

— Можно подумать, что вы чего-то хотели добиться, изображая шута горохового... Вы... Вам нужно, чтобы Вассертрум отравился! — бросил я ему в лицо.

— А как же,— возбужденно ответил Хароузек.

— И вы думаете, что я приложу к этому руку?

— Вовсе не обязательно.

— Но я ведь отдам колбу Вассертруму, как вы меня просили только что!

Хароузек покачал головой.

— Если вы сейчас вернетесь к себе, то убедитесь, что он ее уже заначил.

— Как вы можете допустить такое? — удивился я.—

Вассертрум из тех людей, кто никогда не наложит на себя руки — он слишком малодушен для этого и никогда не действует по внезапному импульсу.

— Просто вы незнакомы с медленно действующим ядом внушения,— строго оборвал меня Хароузек.— Если бы я выражался заурядно, вы бы остались правы, но я заранее учитывал даже самую ничтожную интонацию. На таких вырожденков действует только ходульный пафос! Поверьте! Я мог бы вам изобразить его мимику при каждой моей фразе. Нет такого «китча», как говорят художники, иначе говоря, нет такой гнусной пошлости, которая не вышибла бы слезу у плебеев, пропитанных ложью до мозга костей, не поразила бы их душу! Разве вы не знаете, что театр давно бы уже уничтожили огнем и мечом, будь это иначе? Мерзавец познается по сентиментальности. Тысячи бедняг могут умирать с голоду, а у него и слезинки не выжмешь, но если на подмостках раздумянный дурень, переодетый в деревенщину, вращает глазами, тогда они воют, аки псы на цепи. Если папуля Вассертрум, может быть, даже завтра позабудет, чего ему стоил сегодняшний душевный понос, каждое мое слово оживет в нем, едва пробьет час, когда он самому себе покажется бесконечно жалким. В такие моменты возвышенного покаяния нужен только небольшой толчок — а о нем я позабочусь,— и даже самая трусливая лапа схватится за яд. Надо лишь иметь его под рукой! Вероятно, Теодорчик тоже не сцапал бы склянку, не подстрой я ему все так ловко.

— Хароузек, вы страшный человек,— ужаснулся я.— Неужели вы совсем не чувствуете...

Он тут же зажал мне рот ладонью и втолкнул меня в стенную нишу.

— Тише! Вот он!

Еле держась на ногах, опираясь рукой о стену, по лестнице спустился Вассертрум и, пошатываясь, прошел мимо нас.

Хароузек на ходу пожал мне руку и выскользнул следом за ним.

Когда я поднялся к себе, то увидел, что роза и колбаса исчезли, а вместо них на столе лежали золотые памятные часы старьевщика.

Я вынужден ждать восемь дней, прежде чем получу свои деньги, как мне объяснили в банке. Это был обычный срок для расторжения договора.

Пришлось обратиться к директору, я придумал предлог, что ужасно спешу и собираюсь через час уезжать.

Мне объяснили, что он ничего нового не скажет и что даже он ничего не может изменить в традициях банка; субъект со вставным стеклянным глазом, подошедший одновременно со мной к окошечку кассы, рассмеялся.

Предстояло ждать смерти восемь серых ужасных дней!

Мне казалось, этому не будет конца.

Я был так подавлен, что совсем не сознавал, сколько времени уже стою перед дверью кафе, куда я собрался зайти.

Наконец я вошел, чтобы только отделаться от неприятного типа со вставным стеклянным глазом, следовавшего за мной от банка по пятам. Когда я оглядывался на него, он тут же начинал шарить по земле, как будто что-то потерял.

На нем был светлый клетчатый пиджак, узко стянутый в талии, и черные засаленные брюки, мешковато болтавшиеся на его ногах. На его левом ботинке была яйцевидная выпуклая заплатка из кожи, как будто под нею на палец ноги был надет перстень с печаткой.

Едва я присел, как он тоже вошел и устроился за соседним столиком.

Я думал, что он из попрошаек, и уже было полез за своим кошельком, когда увидел, что на его жирных пальцах мясника сверкают крупные бриллианты.

Час проходил за часом, а я продолжал сидеть, чувствуя, что от внутреннего напряжения непременно сойду с ума,— но куда мне было идти? Домой? Или мыкаться по улицам? Из двух зол одно было ужаснее другого.

Спертый воздух, бесконечный дурацкий треск бильярдных шаров, сухое настырное покашливание близорукого газетного тигра напротив, длинноногий таможенник, изобретательно исследовавший недра своего носа или причесывавший перед карманным зеркальцем пожелтевшими от табака пальцами усы, одетые в смуглый бархат кипучие итальянцы, омерзительно потные и гоготающие вокруг карточного стола в углу, то шмякавшие с пронзительным криком костяшками пальцев по своим козырям, то харкавшие на пол,— все это двоилось и троилось в стальных зеркалах. Казалось, кровь капля по капле высасывают у меня из жил.

Исподволь подкрались сумерки, и кельнер, страдавший плоскостопием, на полусогнутых ногах потянулся палкой к газовой люстре, чтобы, покачивая головой, убедиться, что она не загорается.

Каждый раз, поворачивая голову, я неизменно наткнулся на хищный взгляд субъекта со вставным глазом, который быстро прятался за газету или окунал испачканные усы в давно допитую чашку кофе.

Он так глубоко нахлобучил свою твердую круглую шляпу на голову, что уши у него оттопырились почти горизонтально, но не подавал виду, что собирается уходить.

Это было невыносимо. Я расплатился и направился к выходу.

Когда я уже собирался закрыть за собой стеклянную дверь, кто-то выдернул у меня из пальцев дверную ручку. Я оглянулся.

Снова этот тип!

В досаде я было повернул налево, чтобы направиться к еврейскому кварталу, но он встал напротив меня, преграждая мне путь.

— Когда все это кончится? — воскликнул я.

— Направо, — резко бросил он.

— Что это значит?

Он нагло посмотрел на меня:

— Вы Пернат!

— Вероятно, вы хотели сказать, *господин* Пернат?

Он лишь ухмыльнулся с издевкой.

— Никаких фокусов! Следуйте за мной!

— Вы что, рехнулись? Собственно, кто вы такой? — закричал я.

Он ничего не ответил, отвернул пиджак и осторожно показал на потертого металлического орла, приколотого к подкладке.

Я понял: «мусор» служил в тайной полиции и повязал меня.

— В чем дело, объясните, ради Бога?

— Узнаете потом. В участке, — грубо ответил он. — Марш вперед!

Я предложил ему взять экипаж.

— Еще чего!

Мы направились в полицию.

Жандарм подвел меня к двери.

## АЛОИЗ ОЧИН

### Полицейский советник

— прочел я на фарфоровой табличке.

— Входите, — сказал жандарм.

В комнате друг против друга стояли два грязных бюро с горами папок.

Между ними пара стульев с кривыми ножками.

На стене портрет императора.

На подоконнике стеклянная банка с плавающими в ней золотыми рыбками.

И все.

Слева за бюро сидел косолапый человек, снизу из-под бюро выглядывал его фетровый ботик, увенчанный потрепанной серой штаниной.

Я услышал шорох. Кто-то по-чешски пробурчал несколько слов, и сразу после этого из-за правого бюро поднялся гос-

подин полицейский советник и встал передо мной.

Это был приземистый мужчина с седой остроконечной бородкой, со странной манерой — прежде чем начать говорить, он скалил зубы, как делают, когда смотрят на яркий солнечный свет.

При этом он плотно смыкал веки за стеклами очков, что накладывало на его лицо печать неукротимой подлости.

— Вас зовут Атанасиус Пернат и...— он взглянул на чистый лист бумаги,— вы резчик камней.

Тут же под другим бюро засуетился косолапый ботик, почесался о ножку стула, и я услышал скрип пера по бумаге.

— Пернат, резчик камней,— подтвердил я.

— Н-ню-у, вот мы и встретились, господин... э-э... Пернат. Конечно, Пернат. Да, конечно, да.— Господин полицейский советник вдруг сразу стал удивительно любезен, как будто получил радостную весть, протянул мне навстречу обе руки и забавным манером постарался изобразить простодушного человека.

— Итак, господин Пернат, расскажите-ка, чем же вы занимаетесь целый день?

— Я думаю, вас это не касается, господин Очин,— ледяным тоном ответил я.

Он плотно сомкнул веки, выждал мгновение и нанес молниеносный удар:

— Давно ли графиня крутит любовь с Савиоли?

Я уже слышал нечто подобное раньше и даже бровью не повел.

Он ловко пытался запутать меня в противоречивых показаниях перекрестными неожиданными вопросами, однако, как бы мое сердце ни подпрыгивало к горлу от страха, он ничего не сумел выжать из меня, и я продолжал твердить одно и то же, что никогда не слышал имени Савиоли, с Ангелиной меня в детстве подружил мой отец, и она даже заказывала у меня не раз камеи.

Несмотря на это, я хорошо знал, что полицейский совет-



ник видит, как я ему лгу, и в душе кипит от ярости, не в силах выбить из меня ни одного показания.

На минуту он задумался, затем притянул меня за пиджак вплотную к себе, предостерегающе ткнул пальцем в сторону левого бюро и прошептал мне в самое ухо:

— Атанасиус! Ваш отец был моим лучшим другом. Я хочу вас спасти, Атанасиус! Но вы расскажете мне о графине все. Слышите — все.

Я не понял, что это должно было значить.

— Что вы этим хотите сказать — я хочу вас спасти? — громко спросил я.

Косолапый ботик с досадой стукнул об пол. Лицо полицейского советника посерело от злости. Он приподнял верхнюю губу. Стал выжидать. Я знал, что он немедленно набросится на меня снова (его метода нападать врасплох напоминала мне Вассертрума), и тоже ждал — я заметил, что козлиная образина, владелец косолапой ноги, нетерпеливо вытягивает шею из-за письменного бюро. Затем полицейский советник внезапно перешел на пронзительный вопль:

— *Убийца.*

От изумления я потерял дар речи.

Козлиная образина с угрюмым видом снова скрылась за горами папок на бюро.

Даже господин полицейский советник был весьма поражен моей выдержкой, но искусно скрыл это: придвинул стул и предложил мне сесть.

— Значит, вы отказываетесь дать мне нужные сведения о графине, господин Пернат?

— Я не могу их дать, господин советник, по крайней мере, в том смысле, в каком вы их ждете. Во-первых, я никогда не знал Савиоли, а во-вторых, я твердо убежден, что если графиня обвиняется в измене мужу, то это просто злой навет.

— И вы готовы подтвердить это под присягой?

У меня перехватило дыхание.

— Да! В любое время.

— Хорошо. Гм.

Пауза затянулась — полицейский советник, казалось, напряженно размышляет.

Когда он снова взглянул на меня, в его гримасе застыло притворное сострадание. Невольно мне вспомнился Хароузек, едва полицейский со скрытой слезой в голосе произнес:

— Все-таки вы можете сказать мне, Атанасиус, мне, старому другу вашего отца, *мне*, носившему вас на руках,— я едва не расхохотался — он был старше меня самое большее лет на десять.— Это ведь была самооборона, Атанасиус, правда?

Снова над бюро вспрынула козлиная образина.

— Какая самооборона? — спросил я недоуменно.

— Против этого... *Зотмана!* — крикнул советник прямо мне в лицо.

Фраза поразила меня, как удар клинком,— *Зотман! Зотман! Часы! Фамилия Зотмана была выгравирована на часах!*

У меня вся кровь прихлынула к сердцу — негодяй Вассертрум дал мне часы, чтобы на меня пало подозрение в убийстве!

Полицейский советник тут же сбросил маску, оскалил зубы и плотно смежил веки:

— Итак, вы признаетесь в убийстве, Пернат?

— Все это ошибка, ужасная ошибка. Ради Бога, выслушайте меня. Я объясню вам, господин советник! — воскликнул я.

— Сообщите мне все насчет графини,— резко прервал он меня.— Этим вы облегчите свою участь.

— Но мне больше нечего сказать, кроме того, что я говорил прежде: графиня невиновна.

Он стиснул зубы и повернулся в сторону козлиной образины:

— Пишите: итак, Пернат признается в убийстве страхового агента Карла Зотмана.

Бешеная ярость овладела мной.

— Сука полицейская! — взревел я. — Да какое вы имеете право!..

Мои глаза высматривали предмет потяжелее.

В следующий миг я был схвачен двумя «фараонами», и на меня надели наручники.

Полицейский советник надулся, как кочет на навозной куче.

— И часы? — Он вдруг взял в руку часы с помятым корпусом. — Бедняга Зотман был еще жив, когда вы обобрали его, или нет?

Я совершенно успокоился и твердым голосом дал показания для протокола:

— Часы сегодня утром мне подарил старьевщик Аарон Вассертрум.

Раздался взрыв громкого хохота, и я увидел, как косолапый фетровый ботик отплясывает веселый танец под бюро.

## Мука

Под конвоем жандарма, державшего винтовку с примкнутым штыком, я шел в наручниках по городу, озаренному вечерними огнями.

Уличные мальчишки горланящей гурьбой стискивали нас с обеих сторон, женщины распахивали окна и, грозно потрясая поварешками, бросали мне в спину проклятья.

Уже издалека я увидел гроздкий каменный куб здания суда с надписью на фронтоне:

### КАРАЮЩИЙ МЕЧ ПРАВОСУДИЯ — ЗАЩИТНИК ВСЕХ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Потом меня встретили гигантские ворота и вестибюль, где отдавало кухонным зловонием.

Бородатый мужчина с саблей на боку, босоногий, в форменном мундире и фуражке, в длинных кальсонах, связанных тесемками над лодыжками, встал, отставил в сторону кофейную мельницу, которую он зажимал меж колен, и приказал мне раздеться.

Затем он обыскал мои карманы, вытащил все, что в них было, и спросил, нет ли у меня паразитов.

Услышав отрицательный ответ, он снял с моего пальца перстень и сказал, что все в порядке, можно одеваться.

Меня повели наверх через этажи и коридоры, где в оконных нишах поодиночке стояли большие серые ящики под замком.

Железные двери с засовами и небольшими зарешеченными оконцами в них — а над каждым шипело газовое пла-

мя — тянулись вдоль стены сплошными рядами. По-солдатски выглядевший ражий тюремный надзиратель — первое честное лицо за последний час — отодвинул засов на одной из дверей, втолкнул меня в темную, похожую на шкаф, отдающую помойкой конуру, и запер в ней.

Я оказался в полной темноте и ошупью продвинул ногу. Колено ударилось о железную парашу.

Наконец я пошарил по двери и нащупал ручку — предбанник был так тесен, что я едва мог повернуться, — и попал в камеру.

У стен расположились нары, застеленные тюфяками, набитыми соломой.

Проход между ними был шириной в один шаг.

Квадратное метровое окно на самом верху стены, забранное решеткой, пропускало тусклый свет ночного неба.

Стояла невыносимая духота, камеру заполнял воздух, пропитанный вонью от грязной одежды.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что на трех нарах — четвертые пустовали — сидели люди в серой арестантской одежде, и, упершись локтями в колени, закрыв лица руками, никто не произнес ни слова.

Я уселся на свободные нары и стал ждать. Ждать. Ждать. Час. Два — три часа!

Едва снаружи слышались шаги, я вскакивал: вот наконец, наконец пришли за мной, чтобы отвести к следователю.

Но каждый раз ошибался. Шаги затихали в коридоре.

Я рванул воротник, мне казалось, что я задохнусь.

Я услышал, как заключенные один за другим, кряхтя и вздыхая, растянулись на тюфяках.

— Разве нельзя открыть окно? — громко сказал я с отчаянием в темноту и испугался звука собственного голоса.

— Бэсполэзно, — угрюмо ответил мне кто-то с тюфяка.

Я провел рукой по узкой стенке и наткнулся на полку,

висевшую на уровне моей груди... два кувшина с водой...  
огрызки хлебных корок.

Я с трудом вскарабкался наверх, ухватился за прутья решетки и прижался лицом к оконной щели, чтобы как-то глотнуть свежего воздуха.

Я стоял, пока у меня не задрожали колени. Перед глазами плыла грязно-серая однообразная ночная мгла.

Холодные стальные прутья отсырели.

Скоро наступит полночь.

За моей спиной раздался храп. Только один из арестантов, казалось, не мог уснуть: он метался по тюфяку и негромко постанывал.

Неужели никогда не наступит утро?! Вот! Снова бой часов!

Я стал считать, шевеля дрожащими губами:

— Раз, два, три! — Слава Богу, еще чуть-чуть, и наступит рассвет. Часы продолжали бить.

Четыре? Пять? Мой лоб покрылся испариной. Шесть?! Семь... *Одиннадцать* часов.

Прошел всего час с тех пор, как я в последний раз слышал бой часов.

Мало-помалу я привел свои мысли в порядок.

Вассертрум подкинул мне часы исчезнувшего Зотмана, чтобы меня заподозрили в убийстве. Выходит, он сам мог быть убийцей? Иначе как бы ему удалось завладеть часами? Если бы он нашел где-нибудь труп, а потом бы мертвеца ограбили, он, конечно, получил бы тысячу гульденов награды за обнаружение пропавшего Зотмана, но это было невозможно: по дороге в тюрьму я отчетливо видел на перекрестках все еще расклеенные афишки о розыске.

Что старьевщик укажет на меня, было ясно как божий день.

Так же он был заодно с полицейским советником, по крайней мере, в том, что касалось Ангелины. В противном слу-

чае зачем бы он спрашивал меня про Савиоли?

С другой стороны, из этого вытекало, что Вассертрум *еще не* заполучил писем Ангелины.

Я размышлял...

И разом все предстало передо мной с поразительной ясностью, как будто я сам присутствовал при этом.

Ну, конечно, только так и могло быть: Вассертрум тайком унес к себе мою железную шкатулку, в которой он предполагал найти доказательства, как раз когда вместе со своим сообщником, полицейским советником, перерыл мою квартиру, — он не мог открыть ее тут же, потому что ключ от нее я носил с собой. Он ее взломал — быть может, именно сейчас — в своем логове.

В безумном отчаянии я тряс прутья решетки, представив себе, как Вассертрум роется в письмах Ангелины...

Если бы можно было известить Хароузeka, чтобы он успел вовремя предупредить Савиоли!

На миг я ухватился за надежду, что слухи о моем аресте в еврейском квартале распространятся с быстротой молнии, и я полагался на Хароузeka, как на ангела-хранителя. Старьевщику далеко до его дьявольской хитрости. «Я схвачу его за глотку в тот самый час, когда он соберется взять за горло доктора Савиоли», — сказал уже как-то Хароузек.

Я снова отбросил эту надежду, и жуткий страх охватил меня: что, если Хароузек припозднится?

Тогда Ангелина погибла.

Я в кровь искусал себе губы и исцарапал грудь от раскаяния, что не сжег письма тогда же; я поклялся отправить Вассертрума к праотцам в тот самый час, когда снова окажусь на свободе.

Задушу ли его своими руками или повешу — какая разница!

Что следователь поверил бы моим словам, если бы я разъяснил ему историю с часами и рассказал об угрозе Вассертрума, в этом я нисколько не сомневался.

Утром, наверное, меня освободят, а суд по меньшей мере тоже арестует Вассертрума по подозрению в убийстве.

Я считал часы и молился, чтобы быстрее прошла ночь; пристально вглядывался в пасмурную дымку.

Время тянулось несказанно долго, наконец слегка разбрезжилось, и сначала из хмари выплыло темное пятно, а потом я отчетливо разглядел гигантский медный лик — это был циферблат старинных башенных часов. Однако стрелки на нем отсутствовали — начались новые мучения.

Пробило пять часов.

Было слышно, как просыпались заключенные и, позевывая, перебрасывались чешскими словами.

Один голос показался мне знакомым. Я повернулся, слез с нар и увидел... рябого Лойзу, сидевшего на нарах напротив и в изумлении пялившего на меня глаза.

Два других арестанта были приятелями с нагловатыми лицами, они презрительно смотрели в мою сторону.

— Растратчик? Как это? — спросил негромко один своего приятеля и толкнул его локтем.

Тот что-то пробурчал недовольно, порывлся в своем тюфяке, достал черную бумагу и расстелил на полу.

Потом он плеснул на нее из кувшина немного воды, встал на колени, посмотрел на свое отражение в воде и начал пальцами расчесывать чуб.

С нежной заботливостью он обсушил бумагу и снова спрятал ее под тюфяк.

— Пан Пернат, пан Пернат, — без устали бормотал при этом Лойза, вытаращив глаза, будто увидел привидение.

— Господ'я-а, как я примет'ил, по корешам, — сказал непричесанный на неестественном диалекте чешского вѣнца, отвесив мне насмешливо полупоклон. — Позвольте представиться — меня зовут Вошатка. Черный Вошатка, сию за поджог, — октавой ниже произнес он с гордостью.

Причесанный сплюнул, с презрением оглядев меня, затем ткнул себя в грудь и лаконично бросил:



— Кража со взломом.

Я молчал.

— Н-ню-у, а вас за что посадили, господин граф? — спросил венец после паузы.

Я на секунду задумался и безразлично ответил:

— Убийство с целью ограбления.

Оба дружка вскочили потрясенные, презрение тут же исчезло с их лиц, уступив место безграничному глубокому восхищению, и в один голос они воскликнули:

— Решпект, решпект!..

Увидев, что я не обращаю на них внимания, они вернулись в свой угол и стали перешептываться.

Только один раз причесанный встал, подошел ко мне, молча пощупал мои бицепсы и, покачав головой, вернулся к своему дружку.

— Вы здесь тоже по подозрению в убийстве Зотмана? — тихо спросил я Лойзу.

Он кивнул:

— Уже давно.

Прошло еще несколько часов.

Я закрыл глаза и притворился спящим.

— Господин Пернат, а господин Пернат? — вдруг услышал я тихий голос Лойзы.

— Что? — Я сделал вид, что проснулся.

— Господин Пернат, извините, пожалуйста... пожалуйста... Вы не знаете, что с Розиной? Она не дома? — заикаясь, прошептал бедный парень. Мне стало бесконечно жаль его, когда он воспаленными глазами стал следить за моими губами и от волнения судорожно сжал руки.

— У нее все в порядке. Она теперь кельнершей в ресторанчике «У старого Унгельта», — солгал я.

И увидел, как он с облегчением вздохнул.

Двое арестантов молча принесли на подносе кастрюльки с горячим колбасным отваром и три из них оставили в ка-

мере, потом через несколько часов засовы снова с хриплым треском открылись, и надзиратель забрал меня к следователю.

От нетерпения у меня дрожали колени, когда мы шагали по лестницам то вверх, то вниз.

— Как вы считаете, меня сегодня освободят? — сдавленным голосом спросил я надзирателя.

Я увидел, как он сочувственно подавил улыбку.

— Гм. Сегодня? Гм. Господи, у нас все возможно.

Я похолодел.

Снова прочел на дверной фарфоровой табличке:

### КАРЛ ФРАЙХЕР ЛЯЙЗЕТРЕТЕР

Следователь

Опять я оказался в комнате без излишних украшений, где стояли два бюро с горами папок.

Высокий пожилой мужчина с седой раздвоенной окладистой бородой, с мясистым ртом, в черном сюртуке скрипел сапогами.

— Господин Пернат?

— Да.

— Резчик камней?

— Да.

— Камера семьдесят?

— Да.

— Подозреваете в убийстве Зотмана?

— Пожалуйста, господин следователь...

— *Подозреваете в убийстве Зотмана?*

— Вероятно. По крайней мере, предполагаю. Но...

— Признаете себя виновным?

— В чем, господин следователь? Ведь я невиновен!

— *Признаете себя виновным?*

— Нет.

— В таком случае предписываю вам предварительное заключение. Надзиратель, уведите.

— Пожалуйста, выслушайте меня, господин следователь,

я непременно сегодня должен быть дома. Причиной тому важные вещи...

За вторым бюро кто-то забыл.

Господин барон усмехнулся.

— Надзиратель, уведите.

День тянулся за днем и неделя за неделей, а я все еще сидел за решеткой.

Каждый день в двенадцать часов нам разрешалось спускаться в тюремный двор, и вместе с другими заключенными сорок минут мы ходили по двое кругами, ступая по мокрой земле.

Разговаривать друг с другом запрещалось.

В центре двора стояло обнаженное высохшее дерево, в его кору вросло овальное стекло с изображением Богоматери.

На стенах росли чахлые кустики бирючины с листьями, почерневшими от насевшей на них копоты.

Вокруг повсюду заделанные решеткой окна тюремных камер, откуда порой выглядывали по-арестантски серые лица с бескровными губами.

Потом нас отправляли наверх в наши обжитые склепы с хлебом, водкою, колбасным отваром и воскресной гнилой чечевицей.

Только один раз меня снова вызвали на допрос.

Были ли у меня свидетели, когда Вассертрум якобы дарил мне часы?

— Да, господин Шмая Гиллель... то есть... нет.— Я вспомнил, что его при этом не было.— Но господин Хароузек — нет, его тоже не было.

— Короче, стало быть, никто при этом не присутствовал?

— Никто, господин следователь.

За бюро снова раздалось блеяние, и снова:

— Надзиратель, уведите...

Моя тревога за Ангелину сменилась тупой покорностью.

Время, когда нужно было бояться за нее, миновало. Либо Вассертруму удался план мести, либо в бой вступил Хароузек, повторял я про себя.

Но теперь меня сводила с ума тревога за Мириам.

Я представлял себе, как она часами ожидает повторения чуда, как рано утром, когда приходит пекарь, она выбегает и дрожащими руками преломляет хлеб, как из-за меня, может быть, изнемогает от страха.

Ночами это лишало меня сна, и я взбирался на стенную полку и всматривался в медный лик башенных часов, снедаемый желанием передать свои мысли Гиллелю и крикнуть ему в ухо, что он должен помочь Мириам и избавить ее от этой мучительной надежды на чудо.

Затем я снова бросался на тюфяк, сдерживая дыхание, пока моя грудь не разрывалась от усилия вызвать образ своего двойника, чтобы в утешение Мириам отослать его к ней.

Один раз он даже появился у моих нар с надписью на груди «Союз сияния утренней зари», и я чуть было не закричал от радости, что теперь все пойдет на лад, но он провалился сквозь пол, прежде чем я успел приказать ему явиться к Мириам.

Ни тебе весточки даже от друзей!

— Разве запрещено посылать письма? — спросил я у сокамерников.

Они не знали.

Они никогда еще не получали писем, у них не было ничего, от кого они могли бы их получать. Объяснили они мне...

Тюремный надзиратель при случае обещал разузнать.

Мои ногти потрескались, потому что я все время их грыз, волосы свисали патлами, поскольку ни ножниц, ни гребенки, ни щетки нам не выдавали.

Не было даже воды для умывания.

Я постоянно боролся со рвотой, так как колбасный отвар

вместо соли приправляли содой, по тюремному предписанию «предотвращать рост половой потребности».

Дни тянулись серой вереницей, ужасной в своей монотонности.

Сутки вращались по кругу, точно приговоренные к мукам колесования.

Бывали такие моменты, знакомые каждому из нас, когда внезапно кто-нибудь вскакивал и часами начинал метаться, словно дикий зверь, чтобы потом снова бессильно рухнуть на нары и тупо ждать, ждать и ждать.

Когда смеркалось, на стенах появлялись полчища клопов, будто муравьи в муравейнике, и я удивлялся, почему все-таки тот субъект с саблей на боку и в кальсонах так тщателью допытывался, нет ли у меня паразитов.

Может быть, в окружном суде, ратуя за чистоту клопиной породы, боялись *инородцев*?

Обычно по средам до обеда в камеру являлась на дрожащих ногах свиная голова в фетровой шляпе — это был тюремный врач доктор Розенблат, приходивший убедиться, что все мы пишем здоровьем.

И если кто-то жаловался, он равнодушно предписывал грудное втирание цинковой мази.

Как-то даже пришел председатель окружного суда — рослый надушенный негодяй из «порядочного общества», на его лице было написано, каким низким порокам он втайне предается, — чтобы убедиться, все ли в порядке. «Не повзился ли кто-нибудь», — так выразился причесанный.

Я подошел было к нему, чтобы изложить свою просьбу, тогда он прыгнул за спину надзирателя и наставил на меня револьвер, торопясь узнать, что мне от него надо.

Нет ли для меня писем, учтиво осведомился я. Вместо ответа, доктор Розенблат ударил меня в грудь и тоже отошел подальше. Даже господин председатель окружного суда впятился в дверь и в ее оконце с издевкой произнес, что мне

лучше всего признаться в убийстве, а до того я больше никогда в жизни не получу ни одного письма.

Я уже давно привык к спертому воздуху и вони и постоянно мерз, даже если светило солнце.

Двое заключенных несколько раз менялись, но мне было все равно. Эта неделя была неделей карманников и разбойников с большой дороги, на следующей завели фальшивомонетчика или его укрывателя.

Пережитое вчера забывалось сегодня.

В сравнении с тревогой за Мириам бледнели остальные суетные дела.

Только *одно* событие глубже прочих врезалось мне в память — порою оно преследовало меня во сне как кошмар.

Я встал на стенную полку, чтобы взглянуть на небо, как внезапно почувствовал, что кто-то уколол меня в бедро чем-то острым. Когда я оглянулся, то заметил, что это был напильник, вонзившийся в меня через подкладку пиджачного кармана. Он уже долго там лежал, иначе бы «кальсонник» в вестибюле, конечно, вытащил его.

Я извлек напильник и небрежно бросил на тюфяк.

Когда я спрыгнул вниз, напильник исчез, и я ни секунды не сомневался, что его мог взять только Лойза.

Спустя несколько дней Лойзу забрали из камеры, чтобы перевести этажом ниже.

Надзиратель сказал, что не положено двоим заключенным, проходящим по одному и тому же делу, таким, как Лойза и я, находиться в одной камере.

Я от всей души пожелал бедному парню, чтобы напильник помог ему выйти на свободу.

## Май

Солнце припекало словно в разгар лета, а на понуром дереве во дворе распустилось несколько почек, и когда я спросил надзирателя, какое же сегодня число, он поначалу не ответил, но потом шепнул, что нынче пятнадцатое мая. По сути дела, ему запрещалось разговаривать с заключенными, в особенности с теми, кто до сих пор не признал своей вины, а относительно дат их полагалось держать в неведении.

Стало быть, целых три месяца я сидел в тюрьме, и ни одной весточки с воли!

К вечеру в зарешеченное окно, раскрытое с наступлением тепла, просачивались звуки рояля.

Один из арестантов сообщил мне, что внизу играет дочка ключника.

Днем и ночью я мечтал о Мириам.

Что с ней — здорова ли?

Порою я испытывал чувство отрады, если уносился мыслями к ней, становился у ее изголовья, когда она спала, и, умиротворенный, клал ей на чело ладонь.

А потом снова в минуты отчаяния, когда моих сокамерников одного за другим брали на допрос — только не меня, — мною овладевал смутный страх оттого, что она давно могла умереть.

Тогда я вопрошал судьбу, жива она или нет, больна или здорова, и чет-нечет соломинок в горсти, выдернутых из тюфяка, давал мне ответ.

И почти всегда выходило, что «дела плохи», и я начинал копать в себе, чтобы заглянуть в будущее; пытался перехитрить собственную душу, скрывавшую от меня тайну, вопросами, внешне не относящимися к делу, хорошо ли пройдет для меня еще один день, когда я снова стану радоваться жизни и снова смогу смеяться.

В таких случаях оракул всегда давал утвердительный ответ, и тогда я целый день оставался доволен и счастлив.

Как деревце украдкой растет и пробивает землю, так и во мне исподволь пробуждалась необъяснимая глубокая любовь к Мириам, и я не понимал, как можно было часами сидеть и разговаривать с ней, не сознавая, что происходит со мной.

Непреодолимое желание, чтобы и ей хотелось бы с таким же чувством думать обо мне, в подобные минуты в душе моей усиливалось до ощущения достоверности, и если потом я слышал шаги в коридоре, то пугался, что меня позовут и освободят и мою мечту развеет грубая реальность суетного мира.

За долгое пребывание в тюрьме мой слух настолько обострился, что я улавливал даже едва слышные шорохи.

Всякий раз с наступлением ночи я слышал вдалеке стук проезжающего экипажа и ломал голову над тем, кто бы в нем мог находиться.

Было нечто особенно странное в мысли, что там, за стенами тюрьмы существуют люди, которые могут делать все, что им захочется, свободно передвигаться и идти в любую сторону, и тем не менее не испытывают от этого неопишуемой радости.

Я больше был не в состоянии представить себе, чтобы мне когда-нибудь тоже посчастливилось бродить по залитым солнцем улицам.

День, когда я обнимал Ангелину, принадлежал, казалось, уже далекому прошлому; и я думал об этом с легкой грустью, овладевающей тем, кто, раскрыв книгу, находит там увяд-



шие цветы, принесенные им когда-то в молодости своей любимой.

Блаженствовал ли еще вечерами старый Цвак с Фрисляндером и Прокопом в «Унгельте», мороча голову высохшей от праведности Евлалии?

Нет, все-таки был май — месяц, когда он со своим кукольным театром отчаливал, чтобы в какой-нибудь захолустной дыре разыгрывать на зеленом лужке перед деревенскими простачками сцены с приключениями Синей Бороды.

Я остался в камере один — поджигатель Вошатка, мой единственный сокамерник за неделю, уже несколько часов находился на допросе у следователя.

На этот раз допрос длился необычно долго.

Ну вот. Железный засов с хриплым звяканьем отодвинут, и с сияющим от радости лицом в камеру влетел Вошатка, швырнул узел с одеждой на нары и стал молниеносно переодеваться.

Арестантские обноски с проклятиями полетели на пол.

— Ничего теперь не докажет этот фрайер! Поджог! — он потер пальцем под глазом. — Думали расколоть Черного Вошатку. Ветер был, сказал я. И уперся как бык. Можете теперь брать, коль найдете ветра в поле. Наше вам с кисточкой! Увидимся в «Лойзичеке»! — Он раскинул руки и задрыгал ногами. — В жизни только раз весна быва-а-ет!.. — Он хлопнул по тугой шляпе, украшенной перышком кедровки, нахлобучив ее на голову. — Да, конечно, вас интересует, господин граф, есть ли что-нибудь новенького? Ваш друг Лойза ушел в бега. Я недавно узнал от фрайера. Уже с месяц, как слинял. За ним охотятся, а его давно — тьфу! — и след простыл. — Он ударил пальцами по руке.

«Ага, напильник», — подумал я и улыбнулся.

— Желаю вам, господин граф, тоже поскорее свободу увидеть. — Поджигатель дружески протянул мне руку. — А коли у вас случится, что в кармане блоха на аркане,

спросите только в «Лойзичеке» Черного Вошатку. Меня там каждая девка знает. Вот так-то! Засим наше вам с кисточкой, господин граф, было очень приятно...

Он был еще в дверях, когда надзиратель завел в камеру нового заключенного.

Я сразу признал в нем верзилу в солдатской фуражке, стоявшего рядом со мною под аркою ворот на Ханпагассе во время дождя. Вот это встреча! Может быть, он что-нибудь случайно знал о Гиллеле, Цваке и всех остальных?

Я было хотел его спросить, но, к моему великому удивлению, он с загадочным видом приложил палец к губам, давая понять, что мне лучше помолчать.

Как только прохрипел засов и затихли шаги в коридоре, верзила оживился.

Сердце у меня бешено билось от волнения. Что бы это значило?

Неужели узнал меня? И что ему надо?

Первое, что сделал верзила, сел и стал снимать ботинок с левой ноги.

Затем выдернул зубами затычку из каблука и, оторвав его от подошвы, вытащил из него небольшую жестяную трубочку и с гордым видом протянул его мне вместе с жестянкой.

Все это было сделано в мгновение ока, он совершенно не обращал внимания на мои тревожные вопросы.

— Вот так! С горячим приветом от господина Хароузeka!

Я был настолько потрясен, что не мог произнести ни слова.

— Нужно только ночью или когда никто не видит, взять железку и отделить ее от каблука. Как раз быстро сделать ее пустой,— высокомерно объяснил верзила,— и там находите писульку от господина Хароузeka.

Вне себя от радости я повис у верзилы на шее, и слезы брызнули у меня из глаз.

Он мягко отстранил меня и с укором заметил:

— Больше выдержки, господин фон Пернат! Мне нельзя

терять ни мишьюты. Меня могут увести, ведь я попал не в свою камеру. Мы с Францлем внизу поменялись номерами у беспорточного портье.

У меня, вероятно, было идиотское выражение лица, так как верзила продолжал:

— Коль вы даже не соображаете в этом, ничего не попишешь! Короче, я это я здесь и п-баста!

— Скажите-ка,— удалось мне вставить словцо,— скажите-ка, господин... господин...

— Венцель,— выручил меня верзила,— меня зовут красавчик Венцель.

— Скажите, Венцель, что с архивариусом Гиллелем и его дочерью?

— На это нет времени теперь,— прервал меня нетерпеливо красавчик Венцель.— Меня в любой момент могут вышвырнуть. Так вот: я это я здесь, потому что признался в клевома налете...

— Как, чтобы пробраться сюда, вы только из-за меня совершили ограбление, Венцель? — поразился я.

Верзила небрежно покачал головой:

— Уж коли я взаправду *пошел* бы на грабеж, неужто бы меня *раскололи*? За кого вы меня принимаете?!

Мало-помалу до меня дошло, что честный малый схитрил, чтобы тайком передать мне в тюрьму письмо Хароузэка.

— Ну так, поначалу,— лицо его стало серьезным,— мне надо натаскать вас в эбилепсии...

— В чем?

— Да в эбилепсии! Крепко слушайте и усекайте все в точности! Смотрите сюда. Сперва смутуйте слюну в варежке,— он надул щеки и задвигал ими, как будто полоскал рот,— тогда получите пену в пасти, смотрите, вот так,— с отталкивающей естественностью он показал, как это делается,— потом сжимаете пальцы в кулак, после закатываете фонари,— он страшно скосил глаза,— а потом — такое не каждому дается — давитесь от крика. Усекайте,

вот так — бё-бё-бё — и заодно падаете.— Он грохнулся во весь рост на пол, так что вся тюрьма заходила ходуном, и, вставая, сказал: — Вот и эбилепсия в натуре, как нас учил блаженной памяти доктор Гульберт в «Батальоне».

— Да-да, до чего же похоже, — согласился я.— Но к чему все это?

— К тому, чтобы вас сперва выволокли из камеры! — объяснил красавчик Венцель.— Доктор Розенблат все ж таки недоумок. Ежели у какого-то хилыка отваливается голова, у Розенבלата один ответ: мужик лопается от здоровья! И только к эбилепсии относится с большим респектом. Это и к лучшему: тут же вас волокут в больничную палату. А тогда устроить побег — это раз плюнуть.— Он принял весьма заговорщицкий вид.— Оконная решетка в больнице вся перепилена и только склеена каким-то дерьмом для блезиру. Это секрет «Батальона». Вам всего две ночи потом надо быть на стреме, и коли увидите, как с крыши под окно спущена петля, тишком выньте прутья, чтобы никто не проснулся, проденьте плечи в петлю, мы вытянем вас на крышу и спустим на другую сторону улицы. П-баста!

— Но зачем мне бежать из тюрьмы? — робко возразил я.— Ведь я невиновен.

— Линять надо при любом раскладе! — возразил красавчик Венцель и от изумления вылупил на меня глаза.

Мне пришлось пустить в ход все свое красноречие, чтобы отговорить его от дерзкого плана, который, как он мне сообщил, был итогом обсуждения в «Батальоне».

Для него оставалось загадкой, почему я отвергаю «божью милостыню» и предпочитаю ждать, пока меня освободят.

— Во всяком случае, я признателен вам и вашим верным друзьям от всей души, — растрогался я и пожал ему руку.— Когда минуют все напасти, я буду первым, кто вас отблагодарит.

— Да чего там, — искренне отказался Венцель, — поставите пару кружек «пльзеня», но не больше, и мы вам спасибо

скажем. Пан Хароузек у нас за казначея в «Батальоне», он уже рассказал нам, что вы наш тайный благодетель. Что ему передать, ежели я через пару деньков выйду на волю?

— Да, пожалуйста,— быстро сообразил я,— скажите ему, пусть навестит Гиллеля и сообщит ему, что я крайне опасуюсь за состояние здоровья его дочери Мириам. Гиллель не должен спускать с нее глаз. Запомнили — Гиллель?

— Гирель?

— Нет, Гиллель.

— Хилер?

— Да нет же, Гил-лель.

Венцель едва не сломал себе язык, произнося непривычное для чеха имя, но наконец с ужасными гримасами одолел его.

— И потом еще одно: пусть господин Хароузек — я дружески прошу его, насколько это в его силах,— позаботится об одной знатной даме. Он, конечно, знает, о ком идет речь.

— Видать, вы говорите о знатной трясогузке, забавлявшейся со своим немчиком — доктором Саполи? Так она же развелась с мужем и упорхнула вместе с отпрыском и Саполи.

— Вы точно знаете?

Голос у меня задрожал. Как я ни обрадовался за Ангелину, тем не менее у меня сжалось сердце.

Сколько я из-за нее перенес волнений, и вот на тебе — она меня забыла.

Может быть, она считала, что я в самом деле убийца?

У меня к горлу подступил горький комок.

Верзила, казалось, чувствовал, что для беззащитного человека свойственно говорить обо всем, связанном с его любовью, он догадался, что творится в моей душе, так как робко отвел взгляд и не ответил на мой вопрос.

— Может быть, вы знаете, что с дочерью Гиллеля Мириам? Вы знакомы с ней? — сдавленным голосом произнес я.

— Мириам? Мириам? — Венцель озадаченно наморщил

лоб.— Не та ли, что ночами частенько ошивается в «Лойзичеке»?

— Нет, конечно.

Я невольно улыбнулся.

— Тогда не знаю,— сухо ответил Венцель.

Мы помолчали.

— Что Вассертрума черти забрали, вы об этом, ясное дело, слышали?

Я в ужасе вскочил.

— Ну да,— Венцель ребром ладони провел по горлу.— Убит, убит, это был кошмар, скажу я вам. Когда взломали лавку — поскольку несколько дней его никто не видел,— я, естественно, оказался там первым — а чего теряться! И там в своем поганом кресле сидел Вассертрум, вся грудь в крови, глаза как плоски. Знаете, я крепкий парень, но у меня в котелке все кругом пошло, скажу я вам, и тут я скумекал, что вот-вот упаду без сознания. Самому себе стал твердить без продыху: Венцель, повторяю, Венцель, не трухай, это всего лишь мертвый еврей. В глотку ему всадили напильник, а в лавке все распотрошено вверх тормашками. Естественно, как по статье, убийство с целью ограбления...

«Напильник! Напильник!» Я почувствовал, как у меня от ужаса остановилось сердце. Напильник! Значит, нашел он дорогу к Вассертруму!

— Я даже знаю, кто его прикончил,— вполголоса продолжал Венцель после короткого молчания.— Кроме рябого Лойзы, никто, скажу я вам, не мог пойти на такое мокрое дело. На полу в лавке я как раз нашел его перочинный ножик и мигом заначил его, чтобы не пронюхали легавые. А в лавку он проник через подземный ход.

Венцель резко прервал рассказ и несколько секунд напряженно вслушивался, затем бросился на нары и оглушительно захрапел.

Тотчас хрипло зазвенел засов, в камеру вошел надзиратель и подозрительно оглядел меня.

Я принял безучастный вид, а Венцель продолжал храпеть. Только после нескольких пинков он, зевая, поднялся и пошел за надзирателем, пошатываясь спросонья.

Дрожа от волнения, я развернул письмо Хароузека и стал читать.

«12 мая.

Дорогой мой бедный друг и благодетель!

Я ждал неделями, что Вас наконец освободят — но все напрасно, — делал все возможное, чтобы собрать материал, доказывающий Вашу невинность, но ничего не нашел.

Я просил следователя ускорить производство дела, но всякий раз слышал, что он ничего не может поделать — это функция прокуратуры, а не его. Казенная волокита!

*Только что час назад* мне тем не менее кое-что удалось, отчего я надеюсь на лучший результат: я узнал, что Яромир продал Вассертруму золотые часы, найденные им после тогдашнего ареста Лойзы в его кровати.

В «Лойзичеке», куда, как Вы знаете, наведываются детективы, ходят слухи, что у Вас нашли часы, принадлежавшие Зотману, труп которого, впрочем, все еще не найден, это *corpus delicti* \* против Вас. Остальное я связываю с Вассертрумом *et cetera*!

Я тоже решил дать Яромиру 1000 гульденов...» Я читал, и слезы радости выступили у меня на глазах: только Ангелина могла дать Хароузеку такую сумму. Ни у Цвака, ни у Проккопа с Фрисляндером таких денег не было. Значит, она меня не забыла! Я продолжал читать. «...1000 гульденов и обещал отдать позднее еще 2000, если он тут же пойдет со мною в полицию и признается, что нашел часы у брата и продал их.

Но все это произойдет, когда мое письмо уже будет у Венцеля на пути к Вам. Времени в обрез.

Будьте уверены — это произойдет. Уже *сегодня*, ручаюсь.

\* состав преступления (*лат.*).

Нисколько не сомневаюсь, что убийство совершил Лойза и он же украл часы Зотмана.

Если же, вопреки ожиданиям, что-то получится не так, ну, тогда Яромир знает, что делать, — *в любом случае он опознает часы, как те же, что нашли у Вас.*

Итак, наберитесь терпения и не отчаивайтесь! Может быть, день Вашего освобождения не за горами!

Несмотря на это, наступит ли день, когда мы встретимся? Не знаю.

Должен сказать, что не верю, потому что со мною скоро все будет кончено и *я должен смотреть в оба, чтобы смерть не застала меня врасплох.*

Но в одном я твердо уверен — мы *должны* встретиться.

Если даже и не в этой жизни и не за гробом, но в тот день, когда наступит конец света, когда, как сказано в Библии, ГОСПОДЬ извергнет из уст своих тех, кто были теплы, и не холодны и не горячи \*.

Не удивляйтесь, что я так говорю! Я никогда не беседовал с Вами о таких вещах, но когда Вы однажды коснулись Каббалы, я уклонился от разговора, но — знаю то, что знаю.

Может быть, Вы понимаете, о чем я говорю, а если нет, прошу Вас, то, что я сказал, выбросьте из головы. Однажды в горячке я думал, что вижу на Вашей груди знаки. Вполне возможно, что я видел сон наяву.

Если Вам в самом деле меня не понять, считайте, что я владею известными познаниями почти с самого детства, ведомыми меня по неведомому пути, познаниями, которые немислимо сравнить с тем, чему учит медицина или, слава Богу, которые ей неизвестны. Надеюсь, что никогда и не будут известны.

Но я не позволю дурачить себя научным знанием, высшая цель которого украшать «зал ожидания», вместо того чтобы его разрушить.

\* «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откровение, 3, 16).



Хватит об этом.

Расскажу-ка лучше, что между тем произошло.

В конце апреля Вассертрум уже созрел для того, чтобы мое внушение начало действовать на него.

Я заметил это по тому, как он без конца размахивал руками в переулке и громко разговаривал с самим собой.

Верный признак того, что мысли человека готовились к штурму, чтобы обрушиться на своего хозяина.

Потом он купил записную книжку и что-то в нее записывал.

Он писал! Писал! Я не шучу! *Он писал!*

А позже отправился к нотариусу. Внизу возле дома я знал, что он делал наверху,— он писал завещание.

Мне, разумеется, и в голову не приходило, что он может сделать наследником меня. Вероятно, я бы затрясся в пляске святого Вита от удовольствия, догадайся об этом.

Он сделал меня наследником, поскольку я был единственным человеком на свете, как он считал, дававшим ему возможность искупить свою вину. Совесть оказалась хитрее его.

Возможно, это даже была надежда, что я благословлю его, когда после его смерти — благодаря его милости — вдруг увижу себя миллионером и тем самым сведу на нет проклятие, услышанное им от меня в Вашей комнате.

Итак, судя по этому, мое внушение подействовало трижды.

Ужасно забавно, что он, выходит, все-таки тайно верил в возмездие на том свете, хотя всю жизнь не хотел даже говорить об этом.

Но такое случается с самыми разумными людьми. Что заметно по безумной ярости, овладевающей ими, стоит им лишь сказать это в лицо. Они чувствуют, что попались в капкан.

С момента прихода Вассертрума от нотариуса я уже не спускал с него глаз.

Ночью я прислушивался, что происходит за дощатой пере-

городкой в его лавке, так как в любую минуту мог наступить финал.

Я думаю, что через стену мог бы услышать желанное хлопанье пробки, вытащенной им из склянки с ядом.

Не прошло и часа, а дело моей жизни свершилось.

Вмешался незванный гость и убил его. Напильником.

Попросите рассказать более подробно Венцеля, мне неприятно писать об этом.

Назовите это суеверием, но когда я увидел, что кровь *пролита*, а вещи в лавке испачканы ею, мне показалось, что его душа улизнула от меня.

Что-то — верно, безошибочное чутье — говорило мне, что это не то же самое, умирает ли человек от чужой руки или от своей: только тогда бы я считал свою миссию выполненной, когда Вассертрум унес бы свою кровь в могилу. Теперь же, когда это произошло иначе, я чувствую себя отверженным, орудием, недостойным находиться в руках ангела смерти.

Но я не пытаюсь протестовать. *Моя ненависть из тех, что существует и после смерти*, и еще, конечно, у меня есть моя собственная кровь, которую я смогу пролить как хочу, чтобы следовать за ним по пятам и в царстве теней.

Каждый день после похорон Вассертрума я сижу на его могиле и прислушиваюсь к себе, пытаюсь понять, что мне делать дальше.

Я думал, что уже знаю, но подожду еще, пока внутренний голос, говорящий во мне, не станет ясным и чистым, как родник. Мы, люди, преисполнены скверны, и постоянно нужен долгий пост и бдение, пока нам не станет внятны шепот нашего сердца.

На прошлой неделе мне официально сообщили из суда, что Вассертрум завещал мне все свое наследство.

Что я не трону ни единого крейцера, в этом мне, пожалуй, не стоит Вас убеждать, господин Пернат. Поостерегусь дать «ему» на том свете в руки оружие против меня.

Дома, которыми он владел, я приказал продать с молотка, вещи, к которым он прикасался, предам огню, а то, что потом окажется деньгами или приобретет денежную стоимость, третья часть из этого после моей смерти достанется Вам.

Воображаю, как Вы вскакиваете и протестуете, но успокойтесь. Все, что Вы получите,— Ваша законная собственность со всеми процентами. Мне уже давно стало известно, что Вассертрум годами обирал Вашего отца и его семью, только теперь я могу подтвердить это документами.

Вторая треть будет отдана двенадцати членам «Батальона», знавшим еще доктора Гульберта лично. Мне надо, чтобы каждый из них стал богатым и получил доступ в пражское «высшее общество».

Оставшаяся треть принадлежит поровну следующим семи убийцам округа, которые будут оправданы за отсутствием достаточных улик.

Таким способом я вызову скандал в обществе.

Ну вот, пожалуй, и все.

А теперь, дорогой друг, прощайте и не поминайте лихом  
*Вашего искреннего и  
благодарного Иннокенца  
Хароузeka».*

Потрясенный до глубины души, я отложил письмо.

Даже весть о моем предстоящем освобождении не способна была меня обрадовать.

Хароузек! Несчастный Хароузек! Как брат он заботился обо мне только потому, что я ему однажды отдал сто гульденов. Если бы мне довелось как-нибудь снова пожать его руку!

Я понимал, что он, конечно, был прав: такой день никогда не настанет.

Он вставал перед моим взором со сверкающими глазами, узкими чахоточными плечами и высоким благородным лбом.

Может быть, все пошло бы по-другому, вмешайся вовремя

в его погибшую жизнь чья-либо готовая помочь рука.

Я снова перечитал письмо.

В безумии Хароузeka была своя система! Да и был ли он вообще сумасшедшим?

Мне стало стыдно, стоило лишь подумать об этом.

Не были ли достаточно красноречивы его намеки? Он такой же человек, как Гиллель, Мириам, как я; человек, находившийся целиком во власти собственной души, ведшей его к горным высям через глухие ущелья и пропасти жизни, к вечным снегам неведомого мира.

Всю жизнь замышлявший убийство, не оказался ли он тем не менее правдивее, чем кто-либо из тех, кому нравилось с гордым презрением следовать пошлым заповедям неизвестного мифического пророка?!

Он следовал заповеди, продиктованной ему могучим порывом, даже не думая ни о какой награде в этом мире или жизни потусторонней.

Не было ли содеянное им лишь смиренным исполнением долга в сокровенном смысле слова?

«Малодушный, коварный, кровожадный, чахоточный — противоречивая, преступная натура» — слышатся мне слова приговора, вынесенного толпой, когда со своим жалким фонарем ползет в его душу, чтобы высветить ее, эта брызжащая пеной толпа, которой никогда и ни за что не постигнуть, что ядовитый безвременник осенний в сто раз прекрасней и благородней, чем съедобный лук...

Снова снаружи хрипло звякнул дверной засов, и я услышал, как в камеру завели заключенного.

Я ни разу не оглянулся, поскольку был переполнен впечатлениями от письма Хароузeka.

Ни слова об Ангелине, ничего о Гиллеле.

Разумеется, Хароузек писал в большой спешке, это было заметно по его почерку.

Не могли ли мне тайком передать еще одно письмо от него?

Я надеялся на завтрашний день, на общую круговую прогулку во дворе с заключенными. Там было бы легче подsunуть мне незаметно еще что-нибудь кому-то из «Батальона».

— Позвольте, сударь, представиться,— прервал мои размышления негромкий голос.— Лапондер, Амадей Лапондер. Я обернулся.

Небольшого роста, худой, еще довольно молодой мужчина, изысканно одетый, только без шляпы, как все заключенные, отдал уctивый поклон.

Он был гладко выбрит, точно актер, и его большие светло-зеленые блестящие миндалевидные глаза были устремлены внутрь себя так, что хоть он и смотрел на меня, тем не менее, казалось, меня не видит. У нового сокамерника это было, вероятно, от глубокой рассеянности.

Я пробормотал, поклонившись, свое имя и хотел было отвернуться, однако никак не мог отвести взгляда от мужчины — так непостижимо действовала на меня его улыбка, сходная с улыбкой китайской статуэтки, когда чуть поднятые вверх уголки тонко прочерченных губ постоянно подпирали его щеки.

Он напоминал китайскую статую Будды из розового кварца — прозрачной кожей без единой морщинки, по-девичьи тонким носом и нервным раскрытом ноздрей.

«Амадей Лапондер, Амадей Лапондер», — повторял я про себя.

А он-то что мог натворить?

## Луна

— Вас уже допрашивали? — спросил я некоторое время спустя.

— Только что оттуда. Надо надеяться, я недолго буду вынужден стеснять вас здесь,— приветливо ответил он.

«Бедняга,— подумал я,— он и не подозревает, что предстоит заключенному».

Я решил не спеша подготовить его.

— Постепенно привыкаешь бездействовать, когда минуют первые, самые скверные дни.

Его лицо стало само внимание.

Мы помолчали.

— Долго вас допрашивали, господин Лапондер?

Он рассеянно усмехнулся.

— Нет. Меня только спросили, признаю ли я себя виновным, и я подписал протокол.

— Что признаетесь?

— Конечно.

Он говорил так, будто это само собой разумелось.

Я решил, что он не способен совершить ничего дурного, потому что оставался совершенно спокойным. Вероятно, вызов на дуэль или что-то в этом духе.

— К сожалению, я здесь так долго, что мне кажется, будто я уже просидел здесь всю жизнь.— Я невольно вздохнул, и он с сочувствием посмотрел на меня.— Желая вам особенно не переживать, господин Лапондер. Судя по всему, думаю, вас скоро освободят.

— Бабушка надвое сказала,— невозмутимо ответил он, и в его ответе я услышал скрытый намек.

— Не верите? — улыбнулся я. Он покачал головой.— Как это понять? Неужели вы совершили что-нибудь сверхужасное? Простите, господин Лапондер, я не из любопытства, а лишь из сочувствия к вам.

Он помедлил мгновение, затем ответил, не поведя бровью:

— Умышленное убийство на почве полового извращения. Меня словно дубиной шарахнуло по затылку.

От ужаса и омерзения я не мог вымолвить ни слова.

Он, казалось, заметил мою реакцию и тактично посмотрел в сторону, но ни малейшей морщинкой на своем механически улыбающемся лице не выдал того, что оскорблен моим внезапно изменившимся отношением к нему.

Мы продолжали молчать и ни разу не взглянули друг на друга.

Едва наступили сумерки и я улегся, он тут же последовал моему примеру, разделся, аккуратно повесил одежду на вбитый в стену гвоздь, растянулся на нарах, и по его спокойному глубокому дыханию чувствовалось, что он сразу же заснул.

Всю ночь я не находил себе покоя.

Постоянное ощущение, что подобное чудовище находится рядом и я должен дышать с ним одним воздухом, было так тревожно и отвратительно, что впечатления дня, письмо Хароузeka и все остальное отошли на задний план.

Я улегся лицом к убийце так, чтобы все время держать его в поле зрения; знать, что он у меня за спиной, было невыносимо.

Камера была освещена тусклым сиянием луны, и я видел, что Лапондер лежит неподвижно, словно окаменел.

Его черты приобрели что-то от покойника, а полуоткрытый рот лишь усиливал это впечатление.

За долгие часы сна он ни разу не изменил положения тела.

Только глубокой ночью, когда тонкий лунный луч упал ему на лицо, он едва заметно пошевелился и беззвучно задвигал губами, точно разговаривал во сне. Это были одни и те же слова — может быть, фраза из двух слов, таких, как «Оставь меня. Оставь меня. Оставь меня».

Прошло еще два дня, я словно не замечал его, а он тоже не произнес ни слова.

Его обращение по-прежнему оставалось любезным. Когда бы я ни вздумал поразмяться, он тут же был весь внимание и, если сидел на нарах, предупредительно убирал ноги, чтобы дать мне пройти.

Я начал укорять себя за черствость, но не в силах был отделаться от отвращения к нему, хотя старался изо всех сил.

Я надеялся привыкнуть к его соседству — ничего не вышло.

Даже ночами я продолжал бодрствовать, едва на четверть часа забываясь сном.

Вечерами точь-в-точь повторялось одно и то же: он почти-точно ожидал, пока я не улягусь, затем снимал свой костюм, тщательно разглаживал на нем складки, вешал на гвоздь и все в таком роде.

Как-то ночью — может быть, где-то около двух часов — полусонный от усталости, я снова забрался на полку, всматриваясь в круглый диск луны, лучи которой маслянисто отражались на медном лике башенных часов, и с грустью думал о Мириам.

*И вдруг за спиной я услышал ее тихий голос.*

Я тут же стряхнул с себя полудрему, обернулся и, прислушиваясь, стал наблюдать.

Прошла минута.

Я подумал, что мне только показалось, как снова услышал голос.



Я плохо разбирал слова, но они звучали просьбой: «Спрашивай, спрашивай».

Конечно, это был голос Мириам.

Дрожа от волнения, я спустился вниз так тихо, насколько было возможно, и подошел к постели Лапондера.

Лунный луч выхватил из мрака все его лицо, и я отчетливо различал, что веки у него открыты, но видны лишь белки глаз.

По неподвижности его скул я понял, что он спит глубоким сном.

Только губы шевелились, как на днях.

Мало-помалу я стал понимать слова, произносимые им сквозь зубы: «Спрашивай. Спрашивай».

Голос был поразительно похож на голос Мириам.

— Мириам? Мириам? — невольно воскликнул я, но тут же приглушил голос, боясь разбудить спящего.

Я дождался, пока его лицо снова не окаменело, затем чуть слышно повторил:

— Мириам? Мириам?

Его губы произнесли едва слышно, но отчетливо:

— Да.

Я вплотную приложил ухо к его губам.

Через какое-то время я услышал шепот Мириам — несомненно, это был ее голос, и у меня мурашки побежали по коже.

Я так жадно впитывал слова, что схватывал один их смысл. Она говорила о любви ко мне и о невыразимом счастье, оттого что мы наконец нашли друг друга и никогда больше не расстанемся, торопливо — без пауз, как будто боялась остановиться и использовала каждое мгновение.

Затем голос стал прерывистым, а порой замирал совсем.

— Мириам? — спросил я, трепеща от страха и затаив дыхание. — Мириам, ты умерла?

Никакого ответа.

Затем почти невнятно:

— Нет... Жива... Я сплю...

И больше ничего.

Я продолжал прислушиваться.

Тщетно.

От волнения и дрожи я вынужден был опереться о край нар, чтобы не упасть на Лапондера.

Иллюзия была столь полной, что время от времени мне чудилось, что в самом деле вижу перед собой спящую Мириам, и я должен был собрать все силы, чтобы не прильнуть поцелуем к губам убийцы.

— Енох! Енох! — внезапно услышал я его лепет, а затем все яснее и членораздельнее: — Енох! Енох!

Я тотчас узнал голос Гиллеля.

— Это ты, Гиллель?

Никакого ответа.

Я вспомнил, что где-то читал, как спящего, чтобы он заговорил, надо спрашивать не в ухо, а против солнечного сплетения у подложечной ямки.

Я так и сделал:

— Гиллель?

— Да. Слушаю тебя.

— Мириам здорова? Ты все знаешь? — торопливо произнес я.

— Да, все. Уже давно. Не беспокойся, Енох, и не бойся.

— Ты простишь меня?

— Я же сказал тебе — не беспокойся.

— Мы скоро увидимся? — Я опасался, что больше не смогу разобрать ответа, последняя фраза была уже чуть слышна.

— Надеюсь... Буду ждать... тебя... Когда я смогу... затем должен... в страну...

— Куда? В какую страну? — Я почти упал на Лапондера. — В какую страну? В какую?

— Страна... Гад \* ... Южная... Палестина...

Голос угас.

Бесконечные вопросы перепутались в моем мозгу: почему он назвал меня Енохом? Цвак, Яромир, часы, Фрисляндер, Ангелина, *Хароузек*.

— Прощайте и не поминайте лихом,— вдруг громко и отчетливо произнесли губы убийцы. На этот раз с интонацией *Хароузек*, но так похоже, точно это сказал я сам.

И мне дословно припомнилась последняя фраза из его письма.

Лицо убийцы уже исчезло во тьме. Лунный луч падал теперь на изголовье тюфяка. Через пятнадцать минут камера погрузится в полный мрак.

Я продолжал без конца задавать вопросы, но ответа не было.

Убийца лежал неподвижно как труп, и веки его сомкнулись.

Я проклинал себя за то, что все эти дни видел в Лапондере всего лишь садиста-преступника и ни разу не взглянул на него как на человека.

По тому, что только что произошло со мной, было ясно: Лапондер — сомнамбула, существо, находившееся под влиянием полнолуния.

Может быть, он совершил злодейское убийство в сумеречном состоянии сознания. Наверняка.

Теперь, когда рассвело, окаменелость черт его лица смягчилась и сменилась выражением блаженного смирения.

Не мог так беззаботно спать человек, у которого на совести было убийство, убеждал я самого себя.

Я едва дождался, когда он проснулся.

Знал ли он, что произошло?

\* Счастье (*евр.*). Название одного из двенадцати израильских колен, проживающего в Восточной Иордании, его родоначальником, по Библии, был Гад, сын Иакова.

Наконец он открыл глаза, перехватил мой взгляд и отвернулся.

Я тут же подошел к нему и взял его за руку.

— Простите, господин Лапондер, что я до сих пор был так неприветлив с вами. Но такой из ряда выходящий случай, что...

— Будьте уверены, сударь мой,— с живостью перебил он меня,— я вполне понимаю, какое ужасное должно быть чувство, когда находишься в одной камере с садистом-убийцей.

— Не говорите больше об этом,— попросил я.— Сегодня ночью мне в голову лезло всякое, и я не могу отделаться от мысли, что, может быть, вы...— я пытался найти нужное слово.

— Вы считаете меня больным,— помог он мне.

Я согласился.

— Думаю, это можно заключить по некоторым признакам. Я... Я... Позвольте спросить без обиняков, господин Лапондер?

— Пожалуйста.

— Прозвучит это несколько странно, но... Скажите, что вам сегодня снилось?

Он с улыбкой покачал головой.

— Я никогда не сплю.

— Но вы разговаривали во сне.

Он удивленно взглянул на меня. С минуту раздумывал. Затем уверенно ответил:

— Что-то, однако, могло случиться, если вы задали такой вопрос.— Я подтвердил.— Я никогда не сплю. Я — я скитаюсь,— вполголоса добавил он после паузы.

— Скитаетесь? Как это понять?

Он, казалось, не желал говорить об этом, и я счел уместным назвать ему причины, побудившие меня лезть к нему в душу, и в общих чертах рассказал, что произошло ночью.

— Вы можете быть твердо уверены в том,— сказал он серьезным тоном, когда я закончил,— что все происходило на самом деле так, как я говорил во сне. Как я до этого заметил, я не сплю, но «скитаюсь», и утверждаю это потому, что моя жизнь во сне протекает иначе, чем, скажем, у *нормального* человека. Называйте это как угодно, скажем, отделением от плоти. Таким образом сегодня ночью, например, я попал в довольно необычную комнату, куда вход вел снизу через люк.

— Как она выглядела? — быстро спросил я.— Нежилая? Пустая?

— Нет, в ней была мебель, правда, немного вещей. И кровать, где спала девушка, то была летаргия, а рядом с ней сидел мужчина и держал свою руку на ее челе.— Лапондер описал лица обоих. Вне сомнений, это были Гиллель и Мириам.

Я не смел дышать от напряжения.

— Пожалуйста, расскажите дальше. Кроме них, кто-нибудь еще там был?

— Кроме них? Постойте, нет, в комнате больше никого не было. На столе горел семисвечный канделябр. Потом я спустился по винтовой лестнице.

— Она была сломана? — припомнил я.

— Сломана? Нет, нет, она была в полном порядке. От нее в сторону шла комната, где сидел мужчина в башмаках с серебряными пряжками, довольно необычного вида, такого типа людей я еще никогда не встречал: желтого цвета лицо с раскосыми глазами. Он опустил голову вниз и, казалось, чего-то ждал. Может быть, какого-то поручения.

— А книгу, старинную большую книгу вы нигде не заметили?

Он потер свой лоб.

— Книгу, говорите? Да, совершенно верно. Книга лежала на полу. Она была раскрыта, вся пергаментная и с огром-

ной золотой буквой «А» в начале страницы.

— Может быть, не с «А», а с «И»?

— Нет, с «А».

— Вы точно помните? Это была не «И»?

— Нет, несомненно, «А».

Я покачал головой и не поверил. Очевидно, в полусне Лапондер прочитал мои мысли и все жутко напутал: Гиллея, Мириам, Голема, книгу Иббур и подземный ход.

— Вы уже давно обладаете этим даром «скитания», как вы выразились? — спросил я.

— С двадцати одного года...— Он умолк. Казалось, ему не хочется об этом рассказывать; тут внезапно на его лице появилось выражение безграничного удивления, и он уставился на мою грудь, как будто что-то там увидел.

Не обращая внимания на мое недоумение, он схватил меня за руку и стал умолять:

— Бога ради, скажите мне все. Сегодня последний день, когда я нахожусь вместе с вами. Может быть, уже через час меня заберут, чтобы зачитать мне смертный приговор.

— Тогда вы должны взять меня с собой как свидетеля! — с ужасом прервал я его.— Я присягну, что вы больны. Что вы лунатик. Не может быть, чтобы вас казнили, не исследовав вашего психического состояния. Так будьте же благо-разумны!

— Это не столь уж важно,— нервно возразил он.— Прошу вас, расскажите мне все!

— А что мне вам рассказать? Лучше поговорим о вас и...

— Вам, теперь я это знаю, пришлось пережить некоторые удивительные вещи, близко меня касающиеся — ближе, чем вы можете предположить. Пожалуйста, расскажите мне все! — умолял он.

Мне было непонятно, почему моя жизнь интересует его больше, чем его собственные по-настоящему серьезные

дела; но чтобы его успокоить, я изложил ему все, что происходило со мной загадочного.

С каждой большой паузой он удовлетворенно кивал головой, будто прозревал скрытые пружины события.

Лишь только я начал рассказывать о том, как передо мной появилось безголовое существо и протянуло мне черно-красные зерна, он едва мог дожидаться финала.

— Значит, вы его ударили по руке,— размышляя, пробормотал он.— Я никогда бы не подумал, что может существовать *третий* путь.

— Это был не третий путь,— сказал я,— это был тот самый путь, как если бы я отверг зерна.

Он засмеялся.

— Не верите?

— Если бы вы их отвергли, вы, пожалуй, пошли бы «дорогой жизни», но зерна, обладавшие магической силой, не исчезли. Стало быть, они покатались по земле, как вы утверждаете. Иными словами, они остались там и будут довольно долго оберегаться вашими предками, пока для них не настанет время прорасти. А потом к жизни будут вызваны силы, теперь еще дремлющие в вас.

— Зерна будут оберегаться моими предками? — не понял я.

— Вы должны отчасти символически понять то, что пережили,— объяснил Лапондер.— Круг синих сверкающих людей, обступивших вас,— это вереница наследственных «я», каждое из этих «я», рожденное одной матерью, всюду занято самим собой. Душа не есть просто нечто «единичное», она должна только такую стать, и тогда это называется «бессмертием»; ваша душа составлена еще из многих «я», так же как муравейник из многих муравьев: вы носите в себе духовные остатки многих тысяч предков — пращуров вашего рода. И так обстоит дело со всеми существами. Как могла бы курица, вылупившаяся из яйца, немедленно находить нужный корм, если бы в ней не сраба-

тывал опыт миллионов лет? Наличие «инстинкта» обнаруживает в плоти и духе присутствие предков. Но простите, я не хотел перебивать вас.

Я закончил рассказ. Все, даже то, что говорила Мириам о гермафродите.

Когда я замолчал и взглянул на него, то заметил, что Лапондер побелел как мел и слезы потекли по его щекам.

Я быстро встал, сделав вид, что ничего не увидел, и начал ходить по камере, чтобы дождаться, когда он успокоится.

Затем я уселся против него и пустил в ход все свое красноречие, чтобы убедить его, что надо срочно указать на свое болезненное душевное состояние судье.

— Если бы вы по крайней мере не признали себя виновным в убийстве! — заключил я.

— Но я должен был сделать это! Я отвечаю перед своей совестью! — простодушно ответил он.

— Неужели вы считаете, что ложь хуже, чем... чем убийство? — удивленно спросил я.

— В общем-то, может, и нет, но в моем случае безусловно. Видите ли, когда следователь спросил меня, признаю ли я себя виновным, у меня хватило силы высказать истину. Значит, у меня был выбор — солгать или не солгать. Когда я совершил зверское убийство — прошу избавить меня от подробностей, это было так страшно, не хочу воскрешать такого в памяти, — когда я совершил убийство, тогда у меня *не было* выбора. Если даже я действовал с совершенно ясным сознанием, то *все-таки не имел выбора*: что-то, о наличии чего я никогда не подозревал, пробудилось во мне и было сильнее меня. Поверьте, если бы у меня был выбор, неужели я убил бы? Я никогда не убивал — никогда даже мухи не обидел, да и сейчас был бы наверняка уже не в состоянии сделать такое.

Представьте, что для человека существовал бы закон —



убий. И за неисполнение его полагалась бы смерть — аналогичный случай на войне, — я бы немедленно заслуживал смертной казни. Мне не оставалось бы выбора. Я бы просто не смог убивать. Тогда же, когда я совершил убийство, все было поставлено с ног на голову.

— Тем более вы должны, если чувствуете себя сейчас, так сказать, другим, пустить в ход все, чтобы избежать смертного приговора! — возразил я.

Лапондер замахал протестующе рукой:

— Заблуждаетесь! Судьи совершенно правы, со своей точки зрения. Может быть, у них есть право позволить человеку, такому, как я, свободно прогуливаться, где ему захочется? Чтобы завтра или послезавтра снова грянула беда?

— Нет, но его надо поместить в больницу для душевнобольных. Это все, что я утверждаю!

— Если бы я был сумасшедшим, вы были бы правы, — безучастно ответил Лапондер. — Но я не сумасшедший. Во мне есть что-то совсем иное — нечто напоминающее состояние безумия, но прямо противоположное ему. Пожалуйста, выслушайте. И сразу же поймете меня. То, что вы перед этим рассказали о безголовом призраке, разумеется, символ: этот фантом, ключ к которому вы легко могли бы найти, если задумаетесь над этим, однажды он точно так же появился и передо мной. Только я зерна *взял*. Стало быть, я иду «дорогой смерти»! Для меня самое святое — это то, что я могу думать, что духовностью правят во мне мои поступки. Слепо, доверчиво иду я, куда бы ни вела дорога — к виселице или к трону, к бедности или богатству. Я никогда не колебался, если выбор зависел от меня.

Поэтому я в самом деле не солгал, когда выбор был в моих руках.

Знаете слова пророка Михея: «О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь?» \*

\* Книга пророка Михея 6,8.

Если бы я солгал, я бы нашел причину, почему у меня был выбор; когда я совершил убийство, у меня не было мотива: только действие одного давно затаившегося мотива во мне, над которым я был больше не властен, освободило меня.

Значит, мои руки чисты.

Благодаря тому что моя духовность привела к убийству, она меня и казнила; благодаря тому, что люди готовят мне виселицу, моя судьба отторгнута от их судеб — я обре-таю свободу.

Он святой, подумал я, и волосы у меня встали дыбом от сознания собственного ничтожества.

— Вы рассказали, что из-за гипнотического вмеша-тельства врача в ваше сознание вы надолго потеряли память о своих молодых годах,— продолжал он.— Это при-мета — знак — всех тех, кто был укушен «змием духовного царства». Кажется, в нас должны быть привиты одна к другой две жизни, как привой на диком дереве, прежде чем могло свершиться чудо *воскрешения*; то, что отделя-ется только по причине смерти, здесь происходит по причине угасания памяти — а порою только по причине внезапного душевного переворота.

Так случилось со мной, когда я, видимо без внешних при-чин, однажды утром, когда мне был двадцать один год, пробудился преображенным. То, что я любил до сих пор, тут же показалось мне безразличным: жизнь показалась мне глупой, как история индейцев, и проиграла в своей реальности; достоверностью стали сны, неопровержимо до-казанной достоверностью, поймите меня правильно; *доказан-ной, реальной достоверностью*, а явь стала сном.

Все люди могли бы знать это, если бы овладели ключом к загадке. А ключ единственно и только в том, чтобы осознать образ своего «Я», так сказать, свою кожу во сне — найти узкую щель, куда наше сознание проскаль-зывает между явью и сном.

Потому-то я сказал прежде, что «скитаюсь», а не «вижу сны».

Сражение за бессмертие — это борьба за скипетр против присущих нашей душе звуков и призраков; а ожидание императорского становления собственного «Я» — это ожидание Мессии.

Призрачный «Гавла де-Гармей», наблюдавшийся вами, «дух костей» Каббалы — это и был император. Если он станет короноваться, тогда разорвет надвое веревку, которой вы через внешнее ощущение и дымовую трубу рассудка были связаны с миром.

Вы спросите, как могло случиться, что я — несмотря на свою оторванность от жизни — способен был ночью стать садистом-убийцей? Человек — это как бы стеклянная трубка, по которой катятся разноцветные шарики: почти у всех в жизни шарик бывает только один. Если шарик красный, человека называют «злым», если желтый — «добрым». Если же друг за другом катятся красный и желтый шарики, тогда это человек с «неустойчивым» характером. Мы все испытали в жизни «укус змия», так же как и все человечество за все века: цветные шарики бешено мчатся друг за другом по стеклянной трубке, и если они исчезают, тогда мы — пророки, ставшие подобием Божиим.

Лапондер умолк.

Я долго не произносил ни слова. Его монолог потряс меня.

— Почему вы так настойчиво спрашивали меня до этого о моих переживаниях, если сами намного-намного выше меня? — наконец спросил я.

— Ошибаетесь, — ответил Лапондер, — я нахожусь гораздо ниже вас. А спрашивал я вас, ибо интуитивно чувствовал, что вы владеете ключом к разгадке, которого нет у меня.

— Я? Ключом? О Господи!

— Конечно, *вы!* И вы его мне отдали. Я не верю, что

на земле есть хоть один человек, более счастливый, чем я сегодня.

Снаружи послышался шорох; с хрипом открывались засовы. Лапондер не обратил на это внимания:

— Ключ к разгадке связан с гермафродитом. Я обрел уверенность. Уже оттого я так рад, что удалось получить его, так как скоро буду у цели.

Слезы застилали мне глаза, я не видел Лапондера, а только *слышал*, что он, говоря, улыбался.

— А теперь прощайте, господин Пернат, и подумайте о том, что если завтра меня повесят, это будет лишь моя одежда, вы открыли мне самое прекрасное — последнее, чего я еще не знал. Теперь речь идет о свадьбе... — Он встал и последовал за надзирателем. — Это тесно связано с убийством на почве полового извращения, — были его последние слова, услышанные мною, но смысл их для меня остался неясен.

Когда после той ночи на небе появлялась полная луна, казалось, что я вижу лицо спящего Лапондера, лежащего на серой холстине тюфяка.

В последующие дни, после того как его увели, со двора, где казнили заключенных, до меня доносился стук и грохот молотков и сбиваемых досок, продолжавшийся иногда до самого рассвета.

Я догадался, что это значило, и в отчаянии часами закрывал себе уши.

Проходили месяцы — я смотрел на угасание скудной зелени во дворе, вдыхал запах плесени, исходивший от стен.

Едва мой взгляд на прогулке падал на умиравшее дерево и изображение Марии-Девы на стекле, вросшем в кору, мне каждый раз на ум невольно приходило сравнение: так же глубоко врезалось в меня лицо Лапондера. Оно неизменно присутствовало во мне, это лицо Будды с гладкой кожей и загадочной вечной улыбкой.

Только один раз — в сентябре — меня вызвал следователь и подозрительно допрашивал, почему у окошка банковской кассы я говорил, что мне нужно срочно уехать, почему я до своего ареста так беспокоился и хотел спрятать все свои драгоценности.

На мой ответ, что я намеревался покончить с собой, за бюро снова кто-то насмешливо заблеял.

До сих пор я оставался в камере один и мог отдаться своим мыслям о Лапондере и тоске по Мириам, своей скорби о Хароузке, который, по моим предположениям, давно уже умер.

Потом опять появились новые арестанты: вороватые приказчики с потасканными физиономиями, толстопузые банковские кассиры — «сироты», как их назвал бы Черный Вошатка, и отравили мне воздух и настроение.

Как-то один из них возмутился злодейским убийством, происшедшим давным-давно в городе, и был доволен тем, что убийца был пойман и с ним разделались без церемоний.

— Его звали Лапондер, жалкий подонок,— заорал малый с мордой хищного зверя, осужденный на четырнадцать суток тюрьмы за истязание детей.— Сцапан на месте преступления. В сутолоке от брякнувшихся ламп начался пожар, и вся комната сгорела. Труп девчонки так обуглился, что и по сей день не дознаться, кто это, собственно, был. Черные волосы и худое лицо, вот и все, что известно. И Лапондер так и издох, не назвав ее имени. Если б он пришел ко мне, я бы содрал с него кожу и обсыпал его перцем. Каковы благородные господа! Сплошные убийцы. Будто нет других средств, ежели хочешь отделаться от девчонки,— добавил он с циничной усмешкой.

Я весь кипел от ярости, готовый свалить негодяя на пол.

Целыми ночами он храпел на нарах, где раньше лежал Лапондер. Я с облегчением вздохнул, когда его наконец выпустили.

Но и после этого я все еще не мог выкинуть его из головы. Речь его застряла во мне как острие стрелы.

С наступлением темноты меня постоянно мучило ужасное подозрение, что жертвой Лапондера была Мириам.

Чем больше я боролся с этим подозрением, тем сильнее втягивался в него, пока оно не стало навязчивой идеей.

Порою мне становилось полегче, особенно если через решетку ярко светила луна: я мог тогда воскрешать часы, пережитые мной с Лапондером, и глубокое чувство к нему облегчало муки — но только слишком часто наступали минуты, когда я представлял Мириам убитой и обугленной и думал, что от страха лишусь рассудка.

Шаткие основания для подозрений сгущались в такие часы в одно целое — в картину, полную неописуемо страшных подробностей.

В начале ноября, около десяти часов вечера, когда уже не было видно ни зги и отчаянье во мне достигло высшей точки, так что я, чтобы не закричать, зубами вгрызался в тюфяк, как умирающий от жажды зверь, надзиратель вдруг открыл дверь камеры и приказал мне идти с ним к следователю. Я чувствовал такую слабость, что больше шатался на месте, чем шел вперед.

Надежда когда-нибудь выбраться из этого кошмарного узилища давно уже умерла во мне.

Я был готов к тому, чтобы мне снова задавали равнодушным тоном вопросы, был готов выслушивать заученное блеянье за бюро и затем вернуться в темноту.

Господин барон Ляйзетретер уже ушел домой, и в комнате был только дряхлый сутулый секретарь с паучьими пальцами.

Я тупо ждал, что будет дальше.

И тут заметил, что надзиратель вошел вместе со мной и добродушно подмигивает мне. Но я был настолько подавлен, что не понял значения его подмигиваний.

— «Следствием установлено...— начал секретарь, потом,

заблеяв, влез на кресло и сперва долго рылся на книжной полке в папках с документами, прежде чем продолжать,— установлено, что Карл Зотман, о котором идет речь, перед своей смертью во время тайного свидания с бывшей проституткой незамужней Розиной Мецелес, носившей в то время кличку «Рыжая Розина», а позднее выкупленной из ресторана «Каутский» глухонемым, отныне состоящим под полицейским надзором, вырезальщиком силуэтов по имени Яромир Квасничка, и несколько месяцев назад жившей с его светлостью князем Ферри Атенштедтом в незаконной связи в качестве любовницы, вероломной рукой был завлечен в заброшенный подвал дома номер conscriptionis 21873, дробь римская три, на Ханпасгассе, порядковый номер семь, заперт в том месте и, предоставленный самому себе, соответственно почивший в бозе от голодной смерти или холода. Именно вышеупомянутый Зотман,— секретарь посмотрел на меня поверх очков и полистал протокол.— Следствием далее установлено, что у вышеупомянутого Карла Зотмана, по всей вероятности, после — после наступившей смерти, все его вещи, бывшие при нем, в частности, прилагаемые ниже в деле римская «Р» дробь «бэ-е» карманные часы с двойной крышкой,— секретарь высоко поднял часы за цепочку,— были украдены. Данному под присягой показанию вырезателя силуэтов Яромира Кваснички, осиротевшего сына умершего семнадцать лет назад просвирника того же имени, что часы, найденные в кровати его брата Лойзы, бежавшего между тем — и неоднократно — к торговцу подержанных вещей, ушедшему к тому времени из жизни владельцу земельных участков Аарону Вассертруму, за получением денежной стоимости, были проданы, за отсутствием фактических доказательств можно не придавать значения.

Далее следствием установлено, что умерший Карл Зотман носил в заднем кармане штанов — ко времени его обнаружения — записную книжку, где он предположительно

уже за несколько дней до последовавшей кончины делал записи, и благодаря оным записям прояснилось и было облегчено задержание преступника императорско-королевскими властями.

Вследствие вышеизложенного задачей главной императорско-королевской прокуратуры стало руководство срочным розыском подозреваемого и исчезнувшего *Лойзы* Кваснички, благодаря последним записям Зотмана, и в связи с этим постановить: отменить предварительное заключение резчика камней Атанасиуса Перната как невиновного и уголовное дело против него прекратить.

*Прага, июль*

*Подписал доктор фон Ляйзетретер».*

Земля ушла у меня из-под ног, и я потерял сознание.

Очнулся я, уже сидя на стуле, и надзиратель дружески похлопал меня по плечу.

Секретарь оставался совершенно спокойным, он чихнул, высморкался и обратился ко мне:

— Чтение решения суда откладывалось до сегодняшнего дня, ибо ваша фамилия начинается с буквы «Пэ-е» и, естественно, в алфавите значит ближе к концу.

Затем он продолжил чтение:

— «Сверх того, поставить в известность Атанасиуса Перната, резчика камней, что согласно завещанию студента-медика Иннокенца Хароузeka, скончавшегося в мае, ему причитается треть всего имущества умершего, и положено подписать протокол».

Закончив, секретарь обмакнул перо в чернильницу и начал что-то строчить.

Я ждал, что он, как всегда, заблеет, но секретарь молчал.

— Иннокенц Хароузек,— повторил я рассеянно.

Надзиратель склонился ко мне и прошептал над самым моим ухом:

— Незадолго до смерти доктор Хароузек был у меня и



справлялся о вас. Просил передать большой-большой привет. Конечно, такого я тогда не смог сделать, нам строжайше запрещено. Впрочем, он страшно кончил, этот доктор Хароузек. Сам себя жизни лишил. Его нашли мертвым на могиле Аарона Вассертрума. Он лежал на ней ничком. А до того вырыл в могиле две ямки, перерезал себе жилы и сунул руки в те ямки. Истек кровью. Кажись, с большим приветом был доктор Харо...

Секретарь с шумом отодвинул стул и дал мне перо подписать протокол.

Затем он гордо выпрямился и произнес тоном своего начальника барона:

— Надзиратель, уведите...

Снова, как давным-давно, дежурный с саблей на боку держал меж колен кофейную мельницу; только на этот раз обыскивать меня не стал, а вернул мне мои драгоценности, кошелек с десятью гульденами, пальто и все остальное.

Я оказался на улице.

— Мириам! Мириам! Наконец-то мы увидимся! — Я заглушил в себе крик буйного восторга.

Вероятно, была уже полночь. Круглая тусклая луна висела в небе словно блюдо из светлой латуни, скрытое туманной пеленой.

Мостовая была покрыта вязким слоем грязи.

Шатаясь, побрел я к дрожкам, принявшим в тумане облик обессиленного допотопного чудовища.

Ноги отказывались служить мне, я разучился ходить и еле передвигал онемевшие ступни, точно больной сухоткой спинного мозга.

— Кучер, как можно быстрее на Ханпасгассе, семь! Понятно? Ханпасгассе, семь.

## На свободе

Через десяток метров возница остановил дрожки.

— Ханпасгассе, милостивый государь?

— Да-да, только побыстрей.

Пролетка снова было тронулась и снова остановилась.

— Бога ради, в чем дело?

— Ханпасгассе, милостивый государь?

— Конечно!

— На Ханпасгассе больше не проехать!

— Почему?

— Перэрита вся мостовая. Перестройка во всем еврейском квартале.

— Тогда езжайте как угодно, но прошу побыстрей.

Лошадь с ходу взяла галоп и тут же, спотыкаясь, не спеша заковыляла дальше.

Я опустил дребезжащее стекло окошка и с жадностью вдохнул свежий воздух.

Все мне было в новинку: дома, улицы, закрытые магазины.

Одиноко и понуро рысцой бежал по мокрому тротуару белый пес. Я посмотрел ему вслед. Странно! Собака! Я совсем забыл, что на белом свете существуют такие животные. В ребячьем восторге я крикнул вслед псу:

— Ну-ну! Не стоит вешать голову!

Что бы сказал Гиллель?! И Мириам?

Еще несколько минут, и я буду у них. Начну стучать в дверь, пока не подниму их с постели.

Нынче, конечно, все было хорошо — все напасти этого года позади! Какое предстоит Рождество!

Теперь я его не просплю, как в последний раз. На миг я снова испугался, припомнив слова арестанта с мордой хищника.

Обгоревшее лицо — зверское убийство — но нет, нет. Я силой старался отогнать эти подозрения: этого не может, не может быть. Мириам жива! Я ведь слышал ее голос из губ Лапондера.

Еще минута — полминуты — и тогда...

Дрожки остановились перед грудями развалин. Всюду баррикады из бульжников!

На них виднелись горящие красные фонари.

Множество рабочих при свете факелов копали и рыли землю.

Груды строительного мусора и обломков стен преграждали путь. Я карабкался через них, погружаясь по колени в щебень.

Это то, что должно было быть Ханпасгассе?!

С трудом я пытался сообразить, куда попал. Вокруг ничего, кроме руин.

Разве не там находился дом, в котором я жил?

Фасад был снесен.

Я вскарабкался на земляную кучу, глубоко внизу под мною на месте прежнего переуллка зияла черная выложенная камнем траншея. Я поднял голову — как гигантские пчелиные ячейки, повисли в воздухе обнаженные комнаты, освещенные отчасти факелами, отчасти лунным светом.

Там, наверху, то, что должно было быть моей комнатой, я узнал ее по цвету обоев. От них только одна полоска осталась.

А вот и примыкавшая к ней студия Савиоли. В душе я вдруг ощутил полную пустоту. Странно! Ателье... Ангелина!.. Как далеко, как бесконечно далеко ушло все это от меня в прошлое!



Я обернулся — от дома, где жил Аарон Вассертрум, не осталось камня на камне. Все сровняли с землей — лавку старьевщика, подвальную конуру Хароузека... все, все.

«Человек ступает туда, как тень», — вспомнил я фразу, где-то когда-то вычитанную.

Я спросил рабочего, не знает ли он, где теперь живут те, кого отсюда выселили, — может быть, он знаком с архивариусом Шмаей Гиллелем?

— Немецкий не понимай, — ответил он.

В благодарность я дал ему гульден, и хотя он тут же понял немецкий, но ничего не мог мне толком сказать.

И никто из его друзей.

Может быть, в «Лойзичеке» что-нибудь знали?

«Лойзичек» был огорожен. Это означало, что там шел ремонт.

Тогда разбужу кого-нибудь из соседей. Может, удастся?

— Ни одной собаки вокруг, не то что людей, — ответил рабочий. — Запрещено властями. Из-за тифа.

— А «Унгельт»? Он-то все-таки открыт?

— Закрыли.

— Точно?

— Точно.

Я наугад назвал несколько имен лоточников и продавщиц табака, живших поблизости, потом назвал Цвака, Фрисляндера и Прокопа.

И каждый раз рабочий качал головой.

— Может, Яромира Квасничку знаете?

Рабочий насторожился:

— Яромир? Глухонемой?

Я возликовал. Слава тебе Господи! По крайней мере, один знакомый нашелся.

— Да, глухонемой. Где он живет?

— Кажись, картинки вырезает? Из черной бьюмаги?

— Да. Это он. Где его найти?

Насколько возможно, он подробно описал ночное кафе в центре города и тут же снова взялся за лопату.

Больше часа плутал я по мусорным полям, балансировал на шатучих досках, пролезал под балками, перегородившими улицу. Весь еврейский квартал превратился в одну сплошную каменную пустыню, как будто город начисто разрушило землетрясение.

Задыхаясь от волнения, покрытый грязью, с разорванными башмаками я наконец выбрался из этого лабиринта.

Два-три ряда домов, и я очутился перед нужным приотомом.

Над входом было написано: «Кафе «Хаос».

Безлюдный крошечный подвальчик, где едва хватало места для трех-четырёх столов, придвинутых к стене.

В середине зальцы на колченогом бильярде спал, похрапывая, кельнер.

Водрузив перед собой корзину с овощами, базарная торговка клевала носом над стаканом с каким-то пойлом.

Кельнер наконец соизволил подняться и спросить, что мне угодно. По его наглому взгляду, которым он окинул меня с головы до ног, я сразу понял, что выгляжу как оборванец.

Я посмотрел в зеркало и ужаснулся: чужое бескровное лицо, помятое и серое, как замазка, с всклокоченной бородой и спутанными длинными волосами уставилось на меня.

— Не бывает ли здесь Яромир? — спросил я и заказал чашку кофе.

— Ньи знайю-у, где его черти носят, — зевая, ответил он. Он лег на бильярд и снова захрапел.

Я снял со стены газеты и стал ждать.

Буквы разбегались по полосе, как муравьи, и я ни слова не понимал из того, что читал.

Время шло, и за окнами уже всплывала внушающая опасение глубокая темная голубизна, предвещавшая погребку с газовым освещением наступление рассвета.

Иногда появлялись полицейские с зеленовато сверкающими султанами на шляпах и неспешным грузным шагом снова исчезали на улице.

Вошли трое солдат, бледных от бессонной ночи.

Дворник заказал шнапс.

Наконец появился Яромир.

Он так изменился, что я поначалу совсем не узнал его — глаза тусклые, передние зубы выпали, волосы жидкие, а за ушами глубокие темные впадины.

После столь долгого отсутствия я был так рад увидеть знакомое лицо, что вскочил, подошел к нему и пожал ему руку.

Он вел себя невероятно робко и без конца оглядывался на дверь. Жестами я всячески пытался ему объяснить, что рад встрече с ним. Казалось, он долго мне не доверял.

Но, задавал я себе вопрос, почему он все время делает одно и то же движение рукой, точно не понимает меня?

Как мне только объяснить ему?!

Стоп! Идея!

Я достал карандаш и нарисовал одно за другим лица Цвака, Фрисляндера и Прокопа.

— Что? Их больше нет в Праге?

Он оживленно стал размахивать руками в воздухе, с помощью ужимок показывая, что считает деньги, а его пальцы замаршировали по столу, и он ударил себя по тыльной стороне руки. Я догадался: все трое, вероятно, получили от Хароузeka деньги и теперь отправились по свету в качестве торговой компании с расширенным театром марионеток.

— А Гиллель? Где он живет? — Я нарисовал лицо архивариуса, его дом и знак вопроса.

Знака вопроса Яромир не понял — он не умел читать, но догадался, чего мне от него надо, взял спичку, бросил ее будто бы вверх, и она, как у ловкого фокусника, исчезла.

Что это значит? Гиллель тоже уехал?

Я нарисовал еврейскую Ратушу.

Немой резко замотал головой.

— Гиллеля больше там нет?

— Нет! (Он покачал головой.)

— Где же он?

Повторился фокус со спичкой.

— Небось он говорит, что господин уехал, и никто не знает куда, — наставительным тоном сказал дворник, все это время с любопытством следивший за нами.

От страха у меня сжалось сердце — Гиллель уехал! Теперь я один как перст на земле. Все поплыло у меня перед глазами.

— А Мириам?

Моя рука так сильно дрожала, что я долго не мог нарисовать лица, похожего на ее лицо.

— Мириам тоже исчезла?

— Да. Тоже исчезла. Бесследно.

Я застонал во весь голос, стал метаться из угла в угол, так что трое солдат недоумевающе переглянулись между собой.

Яромир пытался успокоить меня, стараясь сообщить мне что-нибудь другое, то, что, как ему казалось, он знал: он положил голову на руку, будто заснул.

Я схватился за край столешницы:

— Бога ради, Мириам умерла?

Он снова покачал головой. Яромир повторил сцену со сном.

— Заболела?

Я нарисовал медицинскую склянку.

Яромир покачал головой и снова положил голову на согнутую в локте руку.

Забрезжило утро, гасли один за другим язычки пламени в газовых рожках, а я все еще не мог дознаться, что должен был обозначать этот жест.

Я был озадачен. Ломал голову.



Единственное, что мне оставалось,— это пойти рано утром в еврейскую Ратушу, чтобы там разузнать, куда могли уехать Гиллель с Мириам.

*Мне надо догнать их.*

Безмолвно сидел я рядом с Яромиром, оставаясь глух и нем, как он.

Когда, спустя много времени, я поднял голову, то увидел, что он вырезает ножницами силуэт.

Я узнал профиль Розины. Он положил силуэт на стол передо мной, закрыл глаза ладонью и тихо заплакал.

Потом внезапно вскочил и, не прощаясь, еле держась на ногах, направился к двери.

Архивариус Шмая Гиллель как-то ушел без всяких причин и больше не приходил. Свою дочь он, во всяком случае, взял с собой, поскольку ее тоже никто не видел с тех пор,— так мне ответили в еврейской Ратуше. Это было все, что мне удалось узнать.

Ни единого намека на то, куда они могли отбыть.

В банке мне сообщили, что на мои деньги по суду все еще наложен запрет, но каждый день следует ждать ответа, что мне их выплатят.

Значит, наследство Хароузeka тоже еще идет по инстанциям, и я с большим нетерпением ждал денег, чтобы потом приложить все усилия и напасть на след Гиллеля и Мириам.

Я продал драгоценные камни, еще лежавшие у меня в кармане, и снял мансарду из двух небольших смежных меблирашек на Альтшувльгассе — единственной улице, оставшейся нетронутой перестройкой еврейского квартала.

Странное совпадение — это был тот самый знаменитый дом, о котором легенда говорила, что в нем когда-то исчез Голем.

Я справился у соседей — в большинстве это были торговцы или ремесленники,— есть ли истина в слухах о «комнате

без двери», и был высмеян — ну как можно верить подобной чепухе!

Мои собственные приключения приняли в тюрьме бледный оттенок давным-давно развеянного сна, и я видел в них только символы, лишённые плоти и крови, и вычеркнул их из книги своей памяти.

Слова Лапондера, воскресавшие порой в моей душе так ясно, точно он сидел напротив, как тогда в камере, и беседовал со мной, убеждали меня в том, что я чисто духовно мог созерцать то, что мне когда-то представлялось ощутимой реальностью.

Неужели умерло и развеяно по ветру все, чем я когда-то обладал? Книга Иббур, загадочная колода карт, Ангелина и даже мои старые друзья Цвак, Фрисляндер и Проккоп.

Наступил сочельник, и я принес домой небольшую елку и красные свечи. Мне захотелось еще раз вспомнить молодость, искупаться в рождественском сиянии и вдохнуть аромат еловых иголок и горящих свечей.

Прежде чем закончится год, я, быть может, уже буду в пути по городам и весям или же начну искать Гиллея и Мириам там, куда меня потянет душой.

Все нетерпение, все ожидание мало-помалу перестали меня тревожить, исчез и страх, что Мириам может умереть, и я сердцем чуял, что найду их обоих.

Я жил с постоянной счастливой улыбкой внутри себя и, если прикасался к чему-нибудь рукой, мне чудилось, что она обладает исцеляющей силой. Меня наполняло удивительное умиротворение человека, возвращающегося домой после долгих странствий и видящего издали сверкающие башни своего родного города.

Я уже побывал в подвальчике «Хаос», чтобы пригласить к себе на сочельник Яромира. Он здесь больше не появлялся, узнал я и уже, огорченный, хотел повернуть назад, когда в погребок вошел старик и предложил купить дешевые старые вещи.

Я перебирал в его ящике брелоки для часов, небольшие распятия, гребешки и брошки, и тут мне в руки попало сердечко из коралла на выцветшей шелковой ленточке. И я с удивлением узнал подарок, преподнесенный мне Ангелиной в детстве у фонтана в ее замке.

И сразу передо мной предстала моя молодость, как будто я в глубине райка увидел через стекло по-детски раскрашенную картинку.

Долго-долго стоял я потрясенный и не отрывал глаз от маленького красного сердечка в моей руке.

Я сидел в мансарде и слушал потрескивание иголок на елке, когда то тут, то там под свечками начинала тлеть маленькая ветка.

Может быть, как раз сейчас старый Цвак где-нибудь у черта на куличках разыгрывает свой «кукольный сочельник», представил я себе, и таинственным голосом читает строки своего любимого поэта Оскара Винера:

Так где сердечко из коралла?  
На ленте шелковой оно  
В лучах рассвета заиграло...  
Храни то сердце для меня;  
Моя душа его любила,  
Ни в чем себе не изменя,  
Семь грустных лет ему служила.

Настроение стало вдруг необычно торжественным. Свечи догорели. Лишь одна еще пыталась удержать мерцающий язычок пламени. По комнате клубился дым.

Меня словно кто-то потянул за руку, я быстро обернулся и...

*На пороге возникла точная копия меня. Мой двойник. В белом покрове. С короной на голове.*

Только на мгновение.

Затем через дощатую дверь пробилось лизучее пламя, и кипень удушливого жаркого дыма забушевала по комнате.

Дом горит! Пожар! Пожар!

Я распахиваю окно. Карабкаюсь на крышу.

Издалека уже доносятся резкие звонки пожарной команды.

Сверкают каски, и раздаются чеканные слова приказа.

Потом слышатся загадочные и ритмически хлюпающие вздохи насосов, они изогнуты, как водяные дьяволы, готовые ринуться на своего смертельного врага — бушующий огонь.

Дребезжат стекла, и кровавые языки вырываются из всех окон.

Сброшены вниз матрасы, вся улица устлана ими. Люди бросаются на них сверху, раненых уносят.

Но во мне что-то кричит от безумного радостного восторга, не знаю почему. Волосы на голове встают дыбом.

Я подбегаю к дымовой трубе, чтобы не обжечься, так как огненные языки бросаются на меня.

*Вижу веревку грубочиста, смотанную кольцом.*

Разматываю ее, обвиваю ею запястье и ступню, как меня мальчишкой учили на уроках гимнастики, и спокойно спускаюсь по фасаду.

Опускаюсь мимо окна. Смотрю в него.

Внутри все ослепительно сверкает.

*И там я вижу — там вижу, — все мое тело становится единым звонким криком радости:*

*— Гиллель! Мириам! Гиллель!*

Я хочу схватиться за прутья решетки.

Хватаюсь рядом за стену. Теряю опору, выпустив веревку.

На миг повисаю головою вниз, скрестив ноги, между небом и землей.

Веревка от рывка стонет, как порванная струна. С хрустом лопаются волокна.

Я лечу вниз.

Теряю сознание.

Еще в падении хватаюсь за подоконник, но руки срываются.

Нет опоры:

камень скользкий.

*Скользкий, будто кусок сала.*

## Замкнувшийся круг

*...будто кусок сала.*

*Это камень, похожий на кусок сала.*

Слова еще звучат у меня в сознании. Затем я поднимаюсь и пытаюсь понять, где нахожусь.

Я лежу на кровати, живу в отеле.

Тем не менее меня не зовут Пернатом.

Приснилось ли мне все это?

Нет! Так во сне не бывает,

Я смотрю на часы: сон длился не больше часа. Теперь половина третьего.

Вон висит чужая шляпа, которую я накануне перепутал со своей, когда в соборе на Градчанах сидел на скамье во время литургии.

Стоит ли на ней имя владельца?

Я снимаю ее и читаю золотые буквы на белой шелковой подкладке. Чужое и тем не менее такое знакомое имя:

### АТАНАСИУС ПЕРНАТ

Теперь мне нет покоя, я торопливо одеваюсь и бегом спускаюсь по лестнице.

— Портье! Откройте! Я на часок пойду прогуляться.

— Куда, простите великодушно?

— В еврейский квартал на Ханпасгассе. Вообще-то существует улица с таким названием?

— А как же, как же,— портье злорадно усмехается.— Но еврейского квартала, обратите внимание, уже не существует. Все, прошу прощения, построено заново.

— Это ничего. Где она, ваша Ханпасгассе?

Толстый палец портье ползет по карте:

— Вот тут.

— А кабачок «Лойзичек»?

— Вот, пожалуйста.

— Дайте большой лист бумаги.

— Прошу вас.

Я завертываю шляпу Перната. Странное дело: она почти новая, безусловно чистая и тем не менее так потерта, словно ее занесло сюда из легендарных времен.

По пути я размышляю: все, что пережил этот Атанасиус Пернат, я пережил вместе с ним во сне, в *одну* ночь видел вместе с ним, вместе с ним слушал и чувствовал, будто я был им. Почему же мне оставалось неизвестным, что он увидел в тот момент за решеткой окна, когда веревка оборвалась и он крикнул «Гиллель! Гиллель!»?

Я понял, что в этот миг он отделился от меня.

Я должен разыскать этого Перната, даже если мне придется бегать три дня и три ночи, я берусь за это.

Итак, это Ханпасгассе?

Ничего даже приблизительно похожего я и во сне не видел!  
Чистые новые дома.

Через минуту я сижу в кафе «Лойзичек», в довольно аккуратном кабачке без претензий.

Разумеется, в глубине подмостки с балюстрадой; некоторого сходства со старым, приснившимся «Лойзичеком» отрицать нельзя.

— К вашим услугам, что угодно? — спросила кельнерша, дебелая девица, в буквальном смысле вся выпиравшая из своего красного бархатного фрака.

— Коньяк. Так, благодарю.

— Фройляйн! Скажите...

— Что угодно?

— Кто владелец кафе?

— Господин коммерции советник Лойзичек. Весь дом принадлежит ему. Очень знатный и богатый человек.

Ага, малый со свинными зубами на цепочке от часов! — вспоминается мне.

У меня подходящий случай провести разведку.

— Скажите...

— Слушаю вас.

— Когда обрушился Каменный мост?

— Тридцать три года назад.

— Гм. Тридцать три года.— Я подумал: стало быть, Пернату, резчику камней, вероятно, теперь за семьдесят.

— А...

— Слушаю вас?

— Нет ли здесь посетителей, кто еще может помнить, как выглядел в то время старый еврейский квартал? Я писатель, и мне интересно было бы узнать.

Кельнерша раздумывает.

— Из посетителей? Нет. Пойдите, маркер, он играет со студентом в карамболь на бильярде — видите его? Вот тот с крючковатым носом старик, он все еще живет здесь и расскажет обо всем. Мне его позвать, когда он закончит игру?

Я посмотрел туда, куда и девица.

Худощавый седой мужчина в годах опирается о зеркало и натирает мелом кий. Потасканное, но на редкость благородное лицо. Кого же он мне напоминает?

— Как зовут маркера?

Кельнерша стоя опирается локтем о стол, мусолит карандаш, в мгновение ока пишет бесконечное количество раз свое имя на мраморной столешнице и тут же стирает мокрым пальцем написанное. И между делом бросает на меня обжигающие взгляды, огонь которых то слабеет, то вспыхивает вновь. Разумеется, с неизбежным взлетом бровей,



поскольку это усиливает магическую силу ее глаз.

— Как зовут маркера? — снова спрашиваю я. Смотрю на нее, и мне хочется сказать: милашка, почему бы вам не снять все, кроме фрака, или что-нибудь подобное, но я этого не делаю — голова слишком задурманена сном.

— Да, как бишь его зовут? — улыбается она.— Поди, Ферри. Ферри Атенштедт.

— Да что вы? Ферри Атенштедт! Гм. Стало быть, опять старый знакомый. Милая, расскажите-ка о нем поподробней,— проворковал я, но тут же должен был подкрепиться коньяком.— Вы так славно щебечете (я отвратителен самому себе).

Она с таинственным видом наклоняется вплотную ко мне, так что ее волосы щекочут мне лицо, и шепчет:

— Ферри — тертый калач. Но что он из древнего дворянского рода, это, ясное дело, только болтовня, потому что у него нет бороды. И имел жуть сколько денег. Рыжая еврейка, та, что с малых лет спала с каждым,— она снова раза два быстрым росчерком написала свое имя на мраморе,— раздела его до нитки. Думаю, до последнего гроша. А после-то, когда у него все денежки тью-тью, дала ему от ворот поворот и тут же под венец с каким-то важным господином, с...— Она прошептала имя, но я не разобрал его.— И такому важному господину пришлось, натурально, отказаться от всех почестей, и с тех пор он взял себе другое имя — Риттер фон Деммерих. Ну вот. Только, что у нее осталось от прежнего ремесла, от этого он, поди, все-таки отмыться не смог. Я всегда говорю...

— Фрищи! Счет! — крикнул кто-то с подмостков.

Мой взгляд продолжает бродить по залу, внезапно за спиной слышу сухой металлический шелест, точно стрекочет сверчок.

С любопытством оборачиваюсь. Не верю своим глазам.

Лицом к стене, древний, как Мафусаил, старик с музыкальной шкатулкой — размером с коробку из-под сигарет —

в дрожащих костлявых пальцах сидит в углу, весь уйдя в себя — *старый слепец Нефтали Шафранек*, — и крутит крошечную заводную ручку шкатулки.

Я подхожу к нему.

Невнятным шепотом он напевает самому себе:

Дама Шпик,  
Дама Шпок  
И звезды сине-алые  
Чешут языками.  
И пусть заливаet питье...

— Вы не знаете, как зовут того старика? — спросил я несущегося мимо меня кельнера.

— Нет, сударь, никто не знает ни старика, ни как его зовут. Да и сам он не помнит. Совсем один на белом свете. А что — как-никак, а ему сто десять лет. Каждую ночь он получает у нас так называемый кофе для нищих.

Я склоняюсь над старцем и кричу ему в самое ухо:

— Шафранек!

Он вздрагивает как громом пораженный. Что-то бормочет, задумчиво потирает лоб.

— Вы понимаете меня, господин Шафранек?

Он кивает.

— Слушайте меня внимательней! Мне надо спросить вас о чем-то из прошлого. Если вы ответите, получите гульден, я его кладу на ваш столик.

— Гульден, — повторяет старец и тут же как полоумный начинает крутить ручку стрекочущей шкатулки.

Я крепко сжимаю его пальцы.

— Сосредоточьтесь! *Вам не приходилось тридцать три года назад встречаться с резчиком камней Пернатом?*

— Спорное свидетельство... У брючного портного... — задыхаясь, бормочет он и расплывается в улыбке, думая, что я рассказываю ему великолепный анекдот.

— Да нет, не спорное свидетельство — Пернат!

— Перлы?! — Он буквально ликует.

— Да не перлы, а Пер-нат!

— Дуплет? — Он гогочет от радости.

С досадой я оставляю свои безнадежные попытки.

— Вам угодно о чем-то меня спросить, сударь? — Маркер Ферри Атенштедт стоит передо мной и сдержанно кланяется.

— Да. Совершенно верно. При этом мы можем сыграть на бильярде.

— На деньги, сударь? Играем до ста, даю вам фору девяносто.

— Идет. На гульден. Может быть, начнете вы, маркер.

Его светлость берет кий, прицеливается, киксует, делает кислую мину. Такое мне знакомо: он позволит мне выбить девяносто девять, а затем одним махом пошлет все шары в лузы.

Мне становится все забавней. Я сразу перехожу к делу:

— Вы не припомните, господин маркер, давным-давно, примерно когда рухнул Каменный мост, в тогдашнем еврейском квартале вы не встречались с неким *Атанасиусом Пернатом*?

Косоглазый мужчина в полотняной куртке в красно-белую полоску и крохотными золотыми серьгами в ушах, сидящий на скамье у стены и читающий газету, вскакивает, пялит на меня глаза и крестится.

— Пернат? Пернат... — повторяет маркер и напряженно думает. — Пернат? Не тот ли высокий, такой худой? Шатен, коротко остриженная борода с проседью?

— Совершенно верно.

— В то время ему было что-то около сорока? Выглядел, как... — Его светлость вдруг смотрит пристально на меня с удивлением. — Вы ему не родственник, сударь?!

Косоглазый крестится.

— Я? Родственник? Странная мысль. Нет, я просто интересуюсь им. Больше вам ничего не известно? — невозмутимо спрашиваю я, но чувствую, как замирает сердце.

Ферри Атенштедт снова раздумывает.

— Если не ошибаюсь, в свое время его считали сумасшедшим. Как-то он утверждал, что его зовут — постойте-ка — да, Лапондером! А потом выдавал себя за некоего Хароузeka.

— Неправда! — вмешивается косоглазый. — *Хароузек* существовал на самом деле. Мой отец получил от него в наследство больше тысячи гульденов.

— Кто этот мужчина? — негромко спрашиваю я маркера.

— Перевозчик Чамрда. Что касается Перната, я лишь припоминаю, или мне кажется, по крайней мере, что позднее он женился на красивой смуглянке еврейке.

«Мириам!» — говорю я себе и впадаю в такое волнение, что у меня начинают дрожать руки, и я не в состоянии продолжать игру.

Перевозчик крестится.

— Что с вами, господин Чамрда? — удивляется маркер.

— Перната никогда на свете и не было, — кричит косоглазый. — Я не верю.

Я тут же наливаю коньяк, чтобы развязать ему язык.

— Конечно, находятся люди, утверждающие, что Пернат все еще жив, — высказывается наконец перевозчик. — Я слышал, он резчик по камню и живет на Градчанах.

— Где именно на Градчанах?

— Вот в том-то и дело, — перекрестился перевозчик. — Его дом там, где ни одна живая душа не может жить, — близ *«Стены у последнего фонаря»*.

— Вы знаете, где его дом, господин... господин Чамрда?

— Меня туда не затащить ни за что на свете! — возражает перевозчик. — За кого вы меня принимаете? Езус Мария!..

— Но дорогу туда вы могли бы все-таки показать мне издали?

— Это можно, — бурчит перевозчик. — Ежели вы хотите ждать до шести утра; потом я спущусь к Влтаве. Но вам я не

советую! Вы свалитесь в Олений лог и сломаете себе шею! Мать Божия!

Вместе мы идем спозаранку, свежий ветер дует с реки. От нетерпения я ног под собою не чую.

Внезапно передо мною появляется дом на Альтшульгассе.

Я снова узнаю каждое окно, изогнутый кровельный желоб для водостока, решетку, жирно сверкающие каменные подоконники — все, все!

— Когда этот дом горел? — спрашиваю косоглазого. От напряжения у меня шумит в висках.

— Горел? Да никогда!

— Ну как же! Я точно знаю.

— Да нет же.

— Но я-то знаю. Хотите пари?

— На сколько?

— На гульден.

— По рукам! — И Чамрда вызывает старшего дворника.— Этот дом когда-нибудь горел?

— С чего бы? — Дворник смеется.

Я верю и не верю.

— Почитай, седьмой десяток в нем живу, — уверяет дворник, — и кому, как не мне, правду-то знать...

Непостижимо, просто непостижимо.

Чамрда перевозит меня в ялике, сбитом из восьми неоструганных досок, забавными косыми рывками весел ведет его к другому берегу. Желтые волны, вспениваясь, ударяют в борта. Крыши Градчан в утренних солнечных лучах отливают багрянцем. Неопишуемо праздничное чувство владеет мною. Едва уловимое смутное ощущение, как в былые дни, когда мир вокруг меня был обворожителен, — упоительное состояние, с каким порою я жил одновременно в нескольких местах.

Я вылезая из ялика.

— Сколько я должен вам, господин Чамрда?

— Крейцер. А если бы помогали грести — два крейцера.

Той же самой дорогой, какой я шел этой же ночью во сне, снова поднимаюсь по узкой заброшенной тропке. Сердце стучит, и я предвижу появление голого дерева, ветки которого перекинуты через каменную стену.

Но нет — дерево усыпано белыми цветами.

Воздух напоен дурманящим ароматом сирени.

У моих ног в лучах рассвета раскинулся город точно видение земли обетованной. Ни звука. Только аромат и блистание.

Я мог бы с закрытыми глазами отыскать вверх узкую загадочную Алхимистенгассе, так внезапно я стал уверен в каждом своем шаге.

Но если сегодня ночью во сне перед мерцающим белым домом появилась деревянная решетка, то теперь улицу замыкает великолепная выпуклая позолоченная решетка.

Из цветущего низкого кустарника выступают вершины двух кипарисов — они стоят по обе стороны входных ворот у стены, тянущейся за решеткой.

Садовая стена вся выложена мозаикой. Бирюза с золотыми фресками, которые своеобразно выложены ракушками, фрески изображают культ бога Озириса.

На двустворчатых воротах сам бог-гермафродит: правый створ женская, левый створ — мужская половина. Он сидит на роскошном плоском перламутровом троне — в пол-рельефа, — и у него золотая голова зайца. Уши стоят торчком и так плотно друг к другу, что похожи на две страницы открытой книги.

Пахнет росой, а над стеной веет духом гиацинта.

Долго я стою здесь, застывший от изумления, как будто предо мною возник неведомый мир. И старый садовник или слуга, с серебряными пряжками на башмаках, в жабо и необычно скроенном сюртуке, идет за решеткою, подходит ко мне слева и спрашивает через брусья, что мне угодно.

Я молча протягиваю ему завернутую в бумагу шляпу Атанасиуса Перната.

Он берет ее и идет через ворота.

Когда он их открывает, за ними мне становится виден мраморный дом, напоминающий храм, а на его ступеньках

## АТАНАСИУС ПЕРНАТ

и опирающаяся на него

## МИРИАМ

смотрят вниз на город.

На миг Мириам оборачивается, замечает меня, улыбается и что-то шепчет Пернату.

Я околдован ее красотой.

Она такая же молодая, какой я ее видел сегодня во сне.

Атанасиус Пернат не спеша оглядывается, и мое сердце обмирает.

Мне чудится, что я словно смотрю в зеркало, так похоже его лицо на мое.

Затем створки ворот закрываются, и я только вижу мерцающего гермафродита.

Старый слуга подает мне шляпу и говорит — его голос доносится до меня словно из глубины земли:

— *Господин Пернат любезнейше благодарит вас и просит не считать его нерадушным хозяином за то, что не приглашает вас пройти в сад, но таков издревле суровый семейный закон.*

*Должен сообщить, вашу шляпу он не надевал, так как тут же заметил, что она чужая.*

*Он только надеется, что его шляпа не вызвала у вас головной боли.*

**Мейринк Г.**

**М45** Голем: Роман/Пер. с нем. А. Солянова. Предисл. М. Рудницкого.— М.: Известия, 1991.— 288 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Жанр романа «Голем» можно было бы определить как философско-поэтическую притчу. Писатель использует древнюю легенду о том, как один раввин, чтобы иметь помощника, вылепил из глины существо и вложил в его рот пергамент с таинственными знаками жизни. Голем оживал, но к вечеру раввин вынимал пергамент, и Голем снова становился мертвым истуканом. Однако эта легенда в романе — лишь канва, по которой Мейринк плетет сюжет, показывая жизнь не только пражского гетто, но и духовное состояние всего окружающего мира.

**М**  $\frac{4703010100-004}{074(02)-91}$  **117-91**

**ББК 84.4А**  
**И (Австр)**



**ГУСТАВ МЕЙРИНК**  
**ГОЛЕМ**

Художественный редактор *С. Мухин*

Технические редакторы *И. Клыкова, Н. Воронцова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1724

---

Сдано в набор 06.06.90. Подписано в печать 08.04.91. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип-Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,7. Усл. кр.-отт. 12. Уч.-изд. л. 13,30. Тираж 50 000 экз. Зак. № 784. Цена 4 р.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103791, Москва, Пушкинская пл., 5

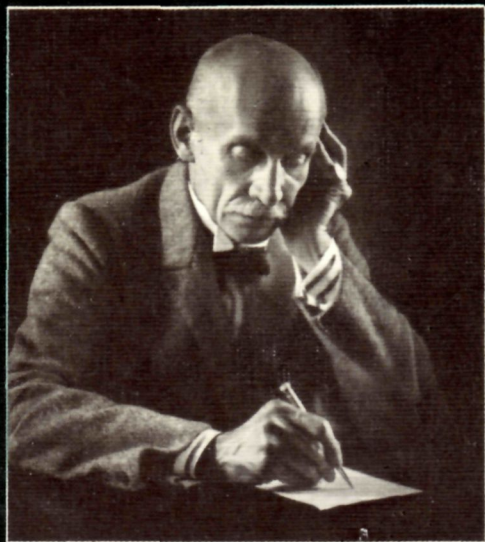
Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

---

## Густав Мейринк

(1868—1932) —  
австрийский писатель.

Начало его литературной деятельности относится к 1903 году, когда он сотрудничал в сатирическом журнале "Симплиссимус" и редактировал венский журнал



"Милый Августин". В 1913 году вышел трехтомник его рассказов и новелл под общим названием "Волшебный рог немецкого обывателя". Международную славу Мейринку принес

его роман "Голем". Когда в 1915 году книга появилась в магазинах, ее мгновенно раскупили. Роман был дважды экранизирован (во Франции и в Германии), переведен почти на все европейские языки, выдерживал небывалые даже для бестселлера тиражи. Поначалу книга воспринималась как символ "литературы ужасов". Однако истинное значение романа раскрылось лишь со временем. И теперь "Голем" с полным основанием причислен к лучшим образцам немецкоязычной прозы. В 1933 году гитлеровцы вместе с книгами Гейне, Генриха Манна и других известных писателей сожгли и роман "Голем", автор которого в одном из своих рассказов с необыкновенной провидческой силой почти за двадцать лет до прихода к власти Гитлера предсказал появление паучьей свастики в Европе.